

РАСКОЛ

Книга огня

роман

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

ЗВЁЗДЫ В ГОРСТИ

фреска первая

Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя, и Белья Росии самодержцу, бьют челом богомолцы твои Соловецкого монастыря келарь Азарей, казначей Геронтей, и священники, и дияконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болнишная братия, и слушки и трудники все. В нынешнем, Государь, во 176-ом году сентября в 15 день, по твоему великаго Государя указу, и по благословению и по грамотам святейшего патриарха Иосафа московского и всея Руси, и преосвященного Питирима митрополита Новгородского и Великолуцкого, прислан к нам в Соловецкий монастырь в архимандриты, на Варфоломеево место архимандрита, нашего монастыря постриженник священноинок Иосиф, а велено ему служить у нас по новым Службникам, и мы, богомолцы твои, предания апостольскаго и святых отец изменить отнют не смеем, бояся Царя царствующицх и страшного от него прещения, и хоцем вси скончатися в старой вере, в которой отец твой Государев, и прочие благоверные цари и великие князи богоугодне препроводиша дни своя: понеже, Государь, та прежняя наша христианская вера известна всем нам, что богоугодно, и святых и Господу Богу угодило в ней многое множество, и вселенския патриархи, Иеремия и Феофан, и протчия палестинский власти книг наших русских и веры православные ни в чем до сего времени не хулили, наипаче же и до конца тое нашу православную веру похвалили, и тем их свидетельством известно надеемся в день Страшного Суда пред самым Господом Богом не осуждены быти, наипаче же и милость получитьи...

Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу

От редакции.

Текст печатается в авторской редакции.
Орфография и пунктуация сохранены.
Выделения в тексте автора.



(я и Жизнь)

Зачем опять и опять слоями страдание кладётся и кладётся, я клад страданий, и, Господи, нет уже воздыханий, нет прозябаний, нет души огненных восстаний, — а есть только вот эта песня: воскресни... воскресни... воскресни... воскресни...

Воскресни, душа моя, мёрзнешь во тьме. Снег алмазный — россыпью по зиме.

В санках меня тащат, лошадей за узду. Мирь, я такую более не вернусь... не приду.

Меня увозят. Салазки дитячи — розвальни, видишь, мои. Качусь по белизне, по счастьем, по крови. Стою на Крови, икону вижу, Невидимый Свет. Господи, а страданья-то — не было и нет.

Народ ропщет, народ жаждет войны и отвергает войну. Народ, он обнимет меня одну. Народ, он сам, как я, в земляных ямах полёг. В срубках сгорел, во огненный входяше чертог.

Множество восстает на мя, множество топчет мя, аки червя. Раздавите в мясо-кровь, во дым!.. буду с моим Пресвятым, ночь алмазна, черна. Множество кричит мне в уши, вопит взахлёб: сгорят все Боговы души, готовь и ты себе гроб!

Ты не множество... ты одна... сама себе дудка-жалейка... сама себе неистовая жена... сама себе песня и пепел, исповеди истошной порванная струна... зимним птицам тишайшее крошево... молитвы солнечная весна...

Господи, Заступниче мой, светло-пресветлая слава моя. В санях везут — мимо, мимо Страшный мой Суд!.. — по сугробам раскиданного белья, мимо страха и плах, повитух и свах, мимо медных канунов, в красных мешках палачей — мимо упорного гласа — Нерукотворного Спаса — мимо слёз избыточных, паникадильных слепящих свечей — мимо ёлки нарядной, Горы Мировой, на вершине золотая Звезда — мимо незачем и нигде — мимо никогда, никуда — а куда?... о, я болярыня просто, черница-сударыня, чёрная ряса за полозом метет снег — далеко ледяные звёзды — в Распятые полночи вбитые гвозди — а я лишь отверженный человек — я уснула, и забылась, и без просыпу спала, как мертвец, и восстала — заступись за меня, Господи Боже мой, заверни в алмазное полночное

одеяло — к сердцу прижми — одну меж людьми — севодня лишь ночью, севодня — взвихрится расшитый опалами, перлами, лалами, смарагдами угольный, мрачный плат — нет пути назад — а лишь сани — по дороге Господней — вдаль да меж сугробов — от колыбели до гроба — от могилы до колыбели — не убоюсь тьмы тем врагов, войска без берегов, солдат, что на копья вздеть сумели — да не в Геенну Адову, а к небесам — Ты воскреснешь Сам — а я что, на копыях побуду под звездами, да в яму — я робёнок Твой, я хочу домой!.. санки катят, катят упрямо — о, воскресни скорей, мой Царь Царей, в санях последних качусь и плачу — одна меж зверей — одна меж людей — по ладони Твоей, гвоздём пробитой, в крови горячей — мать за верёвочку санки везёт — последний поход — мылись в бане, парильне злой, многолюдной, и вот домой — по снегам плывёт деревянный плот — моё Распятие, санный мой Крест немой — жизнь в санях тех навьлет пересекла — вот и все дела — Боже мой, подступает мгла — да она ведь живая, грешная тьма Твоя — к телу липнет мокреть белья — а душа-то сходит с ума — все враждуют друг с другом!.. и — по кругу, по кругу... зубы скалятся, смех и грех... мимо, мимо — ненавидящих и любимых — мимо проклинающих всех — мимо всех, кто в толпе украдкою крестит — кто назавтра повесит на стене — мой избитый, изгрязнённый, расколотый лик — раскололи нас — а шепчу: воскресни... без любви — никто не привык... нам любви бы... любви не иму... сани мимо, мимо... помрачённо пылают снега... подо мной, надо мной... Ты дверь неба открой... полоз — по снегу... зга и мга... Господи, Ты еси моё спасенье... Ты моё Воскресенье... и на мне, катящейся в вечную тьму во детских санях — Твоё нежное, алмазно-снежное, безбрежное благословенье — звезд Твоих уста — на лбу... на устах...

* * *

(Аввакум и Детство)

Три Лика над временами висят. Смещаются времена многожды и стократ, переслаиваются, жарятся на чёрной сковородке, аки блины... а я всё вижу, вижу самоцветные сны... А я

всё зрю да зрю, яко робенком, безпросветные сны — как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперёк да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь — а шею ко звездам выгнул, инда безсловесный серебряный гусь! Рыба да птица... спицы в колеснице... колёса иных, занебесных телег... мне моё детство все снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясётся октябрь и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая... жена, хоть к вечеру воли изжарь... Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, — с пылу-жару схвачу, обожусь... зубы волчьи в жизнёшку вончу... на краю лавки в темнице молчу... с изнанки, свиной кожи, испода... возожгу себя, аки свечу... Три Лица, всево лишь Три Лица, а и кто они, да знамо, кто: один — батяка, другая — матка, поперёд родильново крика я, брадатый, битый-распятый, молочный мороз хватаю голодным ртом... А кто ж третий-то Лик? не различу... старик... колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка... Он глядит на меня краткий миг, всево лишь миг... и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей — гомон, гул, гулянка... А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнём да мечом, надвое — луг, надвое — поле, надвое — сердце: гляди, што почём... Раскол! а и кто там снова жжёт себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою, поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огонь, небесная — на полмира — держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте...

Я качусь в санях. Это детство моё катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой чёрной бани. Это детство моё везёт меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечёвку. Это детство, детство моё я все ловлю, ловлю сухими губами, а чрез миг — солёными: плачу морями полынных слёзынок, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночёвка... Лишь дорога, дорога, — она одна чрез

всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, — ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, всё расколото, от Ада до Бога, — увези мя, Боже, на себя непохожево, во огненной дрожи, снова в детство... увезите меня туда, люди, люди, о люди...

Ох ты, детство моё... на морозе бельё... неба синий котел... уха облаков... плыл осётр, да и был таков... плыла стерлядка, да была такова... на морозе гаснет трёхрядка, скоморошья иней-трава... на морозе гибнут безумные Божьи слова... а я жив... и вера моя жива... власть моя умрёт... а вера моя живёт... синий огонь под полозом, звёздный лёд... сколь страданий ищо, родная моя попадьа, претерпеть... ищо жизни треть... ищо вечности треть... бичеваний плеть... погост и повесть... кандальная клеть... окладная медь... люди, я просто в санках козявка, малёк... снег алмазно сплит... путь ночной далёк... путь ночной широк... лёт ночной высок... надо мной, робёнком, во всю глотку хохочет мой Бог...

Закину башку в бараньей ушанке: Три Лица... в зените Три Лица... острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка... Непостижимы... неприступны... присносушны... трисиянны... То Детство моё, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны... Вчера явлены, нынче сновиденны... в Новолетие вечны, сей же час бренны... То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будто парчовой гордыни парсуны... то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны... рокочут, ливня лунные струны... А я всё в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чудесно по снегу свищут, и я в них сижу, ввечеру — Царь, а поутру — Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, завтра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, беспородный щенок, вою жизнь напролёт, из гончих, звонкого лая Царских пород, лишь робячье, заячье повторяю имя — лаской мамки... за звёздной печкой... за треском дров, тепло насыщает кров, ищо ништо не свершилось... ищо никто не казнён, не убит... ищо нигде не болит... вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит... немного ищо, во сне, в ночи, в тишине... сделай милость...

* * *

(мальчик Аввакум ищет дом:
письмо с войны)

Стреляют. Очень страшно! А на улице всё равно очень хочется. Я выбегаю на улицу с горячей свечой в руке. Когда возле моего лица горит огонь, не так страшно. Я с огнём разговариваю. Он живой. Выбегаю гулять, когда темно. Сегодня выбежал с огнём во двор и увидел в небе тень. Отец уже спал, мама уже спала. Раздался визг, потом я оглох и зажмурился. Когда открыл глаза, вижу: вместо нашего дома руины и осколки кирпичей. Я хотел пить, но не было воды. Колодец засыпало осколками. Из-под кирпичей сочилась кровь. В доме были отец, мама и старая бабушка. Свеча у меня в руке погасла. Я понял: я должен идти искать дом. Я теперь должен найти дом. Мой дом. Во что бы то ни стало найти.

* * *

(из послания
великого Художника в Вечность)

Возьми, милый друже, возьми в руки-то. Не боись. Подойди. Ближе, ближе. Думаешь, голубь? Нет, друже. Раковина. Тако серебрясто выгнута, и перламутром вся горит, перекачиваются внутри неа лучи и стрелы, диковинные сполохи, разноцветье, самоцветье. Огромная та раковина, да, ну же, брось страшиться, ближе, ближе. А в ней, в раковине той, да, не шурься, не алей скулами, лице свое не отвёртывай прочь, гляди, гляди, — две нагия девицы разлеглись. Развалились! Отдыхают. Вроде дремлют. А может, бодрствуют, да так, хитрят, из-под сомкнутых век, смекай, на волюшку взирают. На волю — из перламутровой той клетки. Рыбьей, подводной тюрьмы. Любое роскошество — гибель, коли оно разъедает душу алмазной солью. Крошка льдяная, алмазная сыплется, сыплется... с небес, отвес... и укрывает землю. Всю ее, матушку, толстым блёстким платом, покрывалом святым, седым укрывает, закутывает: яко покойника, а может, яко младенчика. Лежат в Раковине голые девки! Красивые! И при взгляде на

них не хочу и помышлять о худом, и чувствие худово мя не посещает, вот хоть ты режь мя. Нет порока во красоте. Внутри красоты — греха нет. А лишь чистота. И на голые прекрасные, Божественные телеса мелкое крошево алмазное с зенита, из волглых туч всё сыплется, сыплется... летит... Вот недавно хоронил я друга, друже мой, друже верный. Друга старово, старинново хоронил. И даже отпевал. Возле гроба драгово зело печальный, недвижно, инда воротный столб, стоял. Мёртвое лицо друга моево, родней родново, возлюбленново, во гробе созерцал. Серое-мышинное. Бледное. Временем выпитое. Маленькое, жалкое: вроде как усох он после кончины, и голова стала как у робёночка, в подушку атласную вжалась, вросла. В гагачьих перьях подушечных — глубоко утонула. И сам весь уменьшился, укоротился, будто ево топориком стесали, ложкой по-выхлебали, инда кашу овсяную. И то, съела ево жизнь, сожрала. И нас всех жизнь сожрёт; а смертушке одне объедки на трапезу оставит. Нечем ей будет поживиться. Вот и злится она. У гроба толкутся люди, люди... а снег валит и валит с небес, незримый. Уж весь лик усопшево моево друга засыпал, уж весь атлас подушки развышитой, холстину рубахи распоследней, подземной перлами унизал... а всё валит, и валит, метёт и метёт. Все метёт! И удержу нет. И покоя нет. Природа вечно беспокойна. И равнодушна. Дела ей нет до нас. Души у неа нет. А может, есть; да только мы движенья той души мощной, природной не можем поймать, уловить, цапнуть, яко летящую снежную бабочку, сжать в горячем кулаке. К сердцу прижать. Какая тишина! Люди притекают ко гробу и плачут. Последний дом, одинокая домовина, и насельник дома сего лежит покойно и спит в нём, уж не глядит из окна.

А красивые девки — глядят. В Раковине возлежат, руки закинули за головы, груди перламутровы, животы сребряны. Вот одна веками дрогнула, глаза распахнула, взгляд на меня вскинула. Али на тебя, друже? Да ты иди, иди, подойди ближе, ищо ближе! Я вот близёхонько у гроба друга моево старово стоял. Визрал на ево белую могучую браду, на впалые бледные, бледней изнанки листьев лебеды, изморщенные щёки. Помор он по рождению, друг мой,

крепкий кряж был, не сломать, разве только выкорчевать с корнем. Любого, богатырь, мог побороть. Такова силища таилась в нём. И што? Где та силища? Куда провалилась? Кому досталась? Или растаяла, аки лёд по весне, бесследно, в Реку Времени утекла?

Отпевал. Панихидные словеса громко распевал. Все молитвы без мыслей повторял, птицею летящей в чистых, пустых небесах себя чуял. Слушали люди? Не слушали? Плакали? Не плакали? Ничего не помню. Будьто над каменными плитами храма в воздухе висел. Кадило плавало, дымом плакало. Курилось, изнутри светилось. Малая планета, кованая Луна, цепь зажата в руке одна, раскачиваю звонкое небесное тело, жизнь курится, смерть так не хотела, все всё знают, как оно всё будет, да молчат, ровно звери, о смерти люди... Идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная... безконечная...

Што на меня так беспомощно смотришь, друже? Што оглянулся? Иди! Шаг! Ишо шаг! Вон она, Раковина, рядышком совсем! И девки те красивые — рядом! Ты на них — легко, невесомо дохнуть можешь, и волосы на голове у них подымутся и зашевелиятся, а потом опять опадут. В покой. В тишину. Стань на колени! Лик приблизь. Поцелуй хоть одну! Пока я... иду ко дну... ко снежному дну... по жемчужному дну... по воде, по окияну безбрежному... никово не убью... не обману... не прокляну...

Эта Раковина, милый, — зри!.. не Раковина, а Книга. Перламутровы ея страницы. Тяжко их, жёсткие, военные, перелистывать. Буквицы на них то вспыхнут, то сгаснут. Это Книга жизни вечной, любви быстротечной. По ней можно молиться, а можно и засыпать над Ея страницами, а можно и проклинать Ея письмена, над ними беспомощно плача и воя, кулаки сжимая и над Нею живою хоругвью воздымая. Жизнь! Вот так все, все до единого, во гробах будем возлежать. Лежал и мой друг старинный, молчал, очи закрыты, речи излиты. Никогда больше не разверзнутся уста. Штоб вытолкнуть словеса о жизни... да, о жизни лишь одной, великой, смешной и больной! Перламутровой — распоследней — озёрной, морской и речной — небесною, бессловесною, озорной и шальной — до самово Бога встаю-

щей стеной! Ты поминай мя, друже мой, в молитвах своих! Ты шепчи мне, всё шепчи, друже, последний твой, поминальный стих! Я ево, аки любимое демество, до дна изучу... на ветру спою... у судьбы на краю... когда зажгут — и сожгут мя, как свечу...

Как свечу, слышишь ли, друже ты мой, мя сожгут! Умирать не хочу! Только берег крут! Только тут, с обрыва, далёко видать... то ли пытка моя, то ль благодать! Благослови, друже мой, тя Господь! Ты мне Постная, ты Цветная мне Триодь, ты мне тоже Книга, люблю все страницы в ней, все странствия, всю перебежку огней! Как ославляли — и как благословляли мя! Ненавидели как — до Судного Дня! Проклинали как, лобзали как, заносили надо мною казнящий кулак... А я вот он — жив! Да и ты — живой! Ишо ветр — над моею гудит головой! Ишо снег мне в бороду сыплет, алмаз... ишо раз... да ишо много, много раз... Да подаст нам, друже, Господь от щедрот Своих! Да не отымет от нас душу, дух и дых! Изольёт на нас влагу в засушливый год! А к Себе возьмёт — когда час урочный пробьёт! Ты гляди на красавиц во все глаза! Лежат в Раковине, яшма да бирюза, весь подводно-жемчужный, тающий перламутр — буревальных ночей, истомленных утр... Ешь ты, ешь, сладкие яства вкушай! Да хлебни из братины через край! Захмелей ты вволюшку — да спляши: на краю слезы, на помин души! Ткань ты ветхую, рогожу, в куски порви... не обтягивай новой кожей скелет любви... лучше наново, чисто, горько полюби вдругорядь — вишь ты, девки лежат в Раковине, краше и не сыскать!.. Упади на колени... руки тyani... вот — нагие твои ночи и дни... вот — нагие твои судьба и смерть... ни к одной не припасть... не обнять... не посметь... Так молись... широко, на полмира крестись... вот и вся она, наша святая жизнь... бита-гнута... проклята... измолочена вдрызг... в письменах обречённых кровавых брызг... помолись, штоб на столе соль, рыба и хлеб... на иконе — святой твой родимый, в нимбе судеб: житие ево страдальное — повтори... может, смерть узришь, друже мой, изнутри...

* * *

(я сама)

Я сама к тебе пришла. Слышишь ты, сама. Нет, я не схожу с ума. До юродства благословенново, благодатново мне ищо далеко. А я тебе, отче, просто горбушка ситново, просто ледяное, с погребца, молоко. И то, мя погребли — а я восстала да и пошла к тебе, отче, по выгибу родной земли, по ея буеракам, болотам, холмам, оврагам, огням... потеряла счёт летам, ночам, дням... Ну вот я тут. Это апостолы ранее приходили в веру Христову, сперва разбойничали, а потом просветлялись. А мне — Время одолеть: экая малость. А так я с Богом завсегда — и там, откуда пришла, и здесь, рядом с тобою; на закраине стола оплывает свеча... отче Аввакуме, это я. Не погаси. Нас и так Господь в свой черёд потушит на краю бытия. Я на прелесть не соблазнялась, на соблазн не косила глаз. Я всё это за спиною бросила, изникла нищая жалость, и не надобна мне никакая мирская сладость здесь и сейчас.

Ты ведаешь ли, я по монастырям бродила!.. скиталась, моталась по весям и городам... Мне Церковь давала великую силу. Мя от грязи омывал водопадом лучей Божий храм. Навстречь всем ветрам! А што будет там? Далёко?... тамо, куда иду... на костёр, на звезду...

Я тебя, отче, видала издалека. Ты прожигашь собою все века. Оттуда, из Времени, из никогда, ни где и везде, зрела всякий седой волос в твоей святой бороде. Зрела обветренные смуглые щеки, болью изрезанные стократ. Синий, пронзительный, всенебесный взгляд. Сжатый камнем кулак... родинку на скуле... Эта жизнь твоя — рекой — растеклась по земле... А я хочу в той реке плыть. А я хочу вблизи тебя пребыть. Одним с тобою воздухом дышать. С тобою вместе спастись! С тобою вместе... помирать...

Ну так што же! Хочешь, штобы я всё-превсё рассказала тебе? Изволь. Правда дрожит у мя на солёной губе. Вот вырастет пред тобой из-под земли Никитка, звать нынче Никон. Станет он Патриарх. Да ты сам себе патриарх, в зеркало взгляни-ка, а за плечами — кострища жар. Чьё кострище? Твоё? Не бойся. Таково бытиё. Ты ж сам учил малых сих: без мучений нету ни святости, ни святых.

Вот, зришь? Фигура зело мощна, нос заносчив, одежды богато расшиты перловым зерном. То твой Царь, отче. То нас всех земной Царь, и толкует всё об одном: подчинись, смиришь, исполняй приказ. А не то кулаком промеж глаз. А ты такой, отче, неприказной. Ты ж сам на ково хочешь пойдешь войной!

Иду на вы... выше корабельных сосен... тише воды... ниже травы...

Ну, протопопицу тебе што казать?... она, жена, и есть жена. Она на всю жизнь Богом дадена, едина-одна. Рождена в вере Христовой, да возвращена-воспитана в ней, всегда шла мимо болотных, диаволовых огней. Потому, што ты был рядом с ней, ты. Гласом тя ласкала: Вакушка!.. — середь житейской маяты... Вместе вы зрели на небеси знамение: как прелагалася светлая, тресветлая Луна в людскую кровь. Вместе творили неусыпную любовь. Детки рождались... а звёзды все катились, катились кругами округ синей мёртвой Луны... Зри, я дошла к тебе избитыми в кровь, живыми ногами... прими мя опричь детишек, опричь жены... Я, может, твоё дитя наилучшее, наисвятое. Хотя кругом, отче, грешна. Просто... хочу жить и помереть с тобою... не доченька, не сестрица, не жена...

Гляди дале! Болярыня стоит поодаль. Тихохонько стоит, застыла; молчит. То знатная болярыня, не опускает громадные очи, и глазыньки ея иконописные плачут навзрыд. Звать ея болярыня Морозова, а по имечку Федосья, стоит в расстегнутой собольей шубейке, а боса да простоволоса, а батюшка ея был знатный Прокопей, а она сама владелица златых-серебряных копей, да все сокровища свои на веру в Господа Иисуса променяет храбро, на любовь к тебе, отченька, без тебя — рыбой об лёд, топыря жабры...

Што же ты за камень-магнит?... в какой земле Богот отрыт... ах, в моей родной, в нижегородском окоёме... на крыше избы своя мальчонкой сиживал на соломе... И наблюдал, как Луна катит по смолянному небу. И грыз, грыз горбушку ржаново, цвета земли, тёплого, сейчас из мамкиной печи, хлеба...

Таково вижу тя, отче, робёнком... слышу, как плачешь тихо... как хохочешь звонко...

Глас человека — музыка века. Я пришла к те-

бе, я пришла! Из морока, криков, крови и снега. Из выстрелов из-за угла. Велишь продолжать, ково зрю?.. продолжу, изволь. Немного людей в виденьи осталось. Сыплются в жизнь твою, отче, калёная соль.

А што есть Луна, ответствуй?.. может статься, заблудшая звезда. И светит в нигде... и летит в никуда... Глядишь в Луну, инда в зеркало. Видишь, там, у тебя за хребтом, всё люди-люди?.. толпятся, толкутся... ох, они тя и страшно избичуют потом...

Противостой Царю. Противостой Патриарху. Жизнь тебе — бичом и подарком. Жизнь тебе — скатёркой камчатной: убрсом к лику в кровище прижмёшь — вот тебе и образ печатный... Забьют тебя, замучат за то, што веру Русскую будешь хранить. Не бойся! Мужайся! Это въётся Времени овечия нить. Это жужжит веретено в крепких руках Настасьи, жёнки твоя. И тебе, отче, вся земля — семья, и все звёзды — семья.

Спой нынче со мною любимый Давыдов псалом на краю бытия.

Пускай нас нынче не услышит никто из людей.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей!

Молись и за Никона, и за Царя. Все люди в реке-жизни плывут не зря. От твоя долблёнки отстанут их богатые, в бухарских коврах, лодьи. А ты, и умирая, живи, всё живи. А ты, и сгорая на будущем костре, бороду к небеси задирая в серебре, усыпанный рубинами-топазами, искрами огня, кричишь-поёшь про жизнь, значит, про меня! Ведь я не человечница, отче, нет! я твоя жизнь! Ты за меня крепче, больней на костре держись! Смерть — яко затмение Солнца! зачернение Луны! Жизни, веруй, никакие смерти не страшны! Вот видишь, я тут, и пою с тобою и о тебе; это значит — я снова слеза на твоей губе; это значит — я проповеди твоя ночной тихий хрип, я под твоею стопой в темнице — половицы скрип, раскинь крестообразно в огне руки твои, ты сгораешь во любви и во имя любви, ты станешь пеплом звёзд, перегнемом небес, а потом на востоке над Миромъ взойдёшь, озарив дол и лес!

А сей час — просто, отче, тебе Аллилуия моя! Хрипло, радостно пою тебе я! Трижды славим Господа! Трикраты в Пасху лобзанье! Трисвя-

тое пенье, знаменный распев, широкое, на полмира, дыханье...

Всё ли понял ты, отче? Всё ли так я тебе рассказала? Отца, Сына, Духа Святаго помянула с конца и с начала? Тот ли спела заветный псалом? То ли Демество по гласам распела? Ты-то понял, што мы с тобою живём там, в ночных небесах, без края-предела?.. Там, округ белоликой Луны, над холкой Медведицы звёздной, где ветра сшибаются, где Илья в колеснице и Езекииль могучий и грозный, а рядышком с ними и ты, отченька Аввакуме, в лучистом хитоне, на звёздном убрсе... Прости-спаси-сохрани тебя, Вседержителю Господи Иисусе...

* * *

(я свидетельствую о Расколе)

Я всё-таки добежала сюда. Я свидетель. Што такое свидетель? Свидетель — свидетельствует. Свидетельствую, ибо истинно. А ты, ты разве знаешь, што оно такое, истинно? Што есть истина? Так Понтий Пилат Иисуса спросил. И што Господь ему, наместнику императора римского, земному владыке, ответил? Ты сказал. Да, так и сказал: ты сказал. И боле ничево. Ничесоже.

Свидетельствую, што всё оно во времена твои, отче, происходит в матушке нашей Расее ужасно. Раскольно. Мне больно! Што есть Раскол? Земля трескается надвое, натрое, начетверицу, надсятеро, на сам-сто — и расходится. Разымаётся! Раскалывается. Вот уже раскололась. Реву в голос. А я-то, я — на каком берегу? На правом... на левом?.. где верней спастись... а, всё одно погибнешь! молись...

Разве расскажешь тебе, отче Аввакуме, о том, што я видала-слыхала чрез три века после тя?.. поведать бы, не шутя... я ж не скоморох... но и не Господь Бог... Нет ничево, што бы по силе ужаса перекрыло то, чему люди сами свидетелями станут. Наудачу да спьяну. Хмельным лехше: они веселеньки очи закроют с улыбкой — а Миръ под ними качнётся зыбкой, а Миръ под ними с места тихо стронется, и поплывут корабли, и поскачет конница, и полетят железные, крестовидные лютые птицы в небеси... и будут на землю, вниз, бросать смерть... ай, Господи, спаси...

Батюшко!.. навидалась я, наслыхалась. Настрадалась. Как тот, ну, пророк, про нево ты мне говаривал, да и болярыне твоей, усердно тебе внимающей, нежно нашёптывал: Нострадамус. Во хранцузских землях жил-поживал, заботливо врачевал, людей из лап чумы вынимал. А ночью — в толстенной книжище, телячьей кожей обтянутой, всё писал и писал. Скрипело гусье перо... расплывалось чернило... Увидати, што будет — не то, што было. Он, Нострадам, и стальных адских птиц в небесах тайным внутренним оком видал. И тяжелые коробы, сработаны из железа, а на них пушки, и стреляют; и всё живое в округе враз помирает — от края до края... А ведь землю нашу можно убить легко, просто! И ни слова не скажут чужедальние звёзды. И ни лучика приветново нам, мертвецам, не бросят равнодушные звёзды. Убить — просто. Умереть — тоже просто. Жизнь недорога; а смерть ишо боле дешева. Подкладывай в топку людские поленья! Жарко горят дрова!

Мы, отченька, в минувшем веке пережили две грозных войны. А малых войн и не счесть; лишь о них у бедных матерей сны. Уходят на войну — и не вернутся сыны. Глаза от слёз навеки солонны. В начале века родился новый великий Раскол. Миръ весь безумный трещинами пошёл. Люди как озверели. Убивали друг друга таково жестоко! Армии шли друг на друга. Заслоняли ужас вышитым ликом Бога. Воздымали хоругви, штандарты и иные знамёна. Кровь хлюпала под ногами. Лилась с небосклона. Кровь, она ведь всё помнит. И во мне она шумит настойчиво и устало. Мне она поёт: дитя, начинай всё сначала. Вымани из норы войну. Стань охотницей! Может, ея-то ты и застрелишь. Горькими семянами на зубах молодых смелешь. Я помню и вторую страшную битву, в середине минувшаго века. Мильоны убитых, забытых закрывал полог снега. Снег молчал. Снег валил. Морозы такие настали — хоть стой, хоть падай. Немец на нас тогда войною пошёл; и пластами, слоями жизнь обращалась в падаль. И люди людей вешали. Кололи штыками. Жгли огнемётом. Взрывали торпедой. Свидетельствую, ибо истинно! И мы били, били врага, били и гнали, до конца, до венца, до самой победы.

А ты, ты-то ведь таково рыдал, когда увидал

скотину мёртвую на дворе у соседа... рыдал, Бога Господа пред образом поминал, шёл впервые по Господнему следу, ибо лишь Господь может тебе показать, как в радость обращается гибель, в имярек — любимое имя; а ты горько плакал, всё о душе, ей одной исполать, бессмертной, между смертными всеми другими...

Свидетельствую, ибо истинно! Разрубили нашу древлюю веру мечом! Скажешь, отче, Царь ни при чём, и Никон, твой шабёр, ни при чём?! Я-то вижу, да и ты уж зришь, как воистину в Господа верующие идут, собираются в срубы, штобы через минуту древняный гроб факелом возжечь, вознести к ночному небу огненный меч... как молитву последнюю шепчут горящие губы... Скажешь, зачем люди себя убивали?! И ты не остановил! Ты знал: так будет в конце, и так было в начале. Это выбор свободный, нам даёт Господь ево смело: иди хоть во смерть, хоть в бессмертье, ибо оба — без края-предела!

Кровь... кровь... Ты ей не прекословь. Она снимет с тебя и оковы, и сами следы оков. Человек родится в крови, убитый — уходит, весь в крови лежащ; кровавый на нево наброшен, вместо Святой Плащаницы, грязный военный плащ. А война и в миру может завтра, да што там, севодня разразиться; война такая птица, куда долетит, там людям и разбиться. Кровь твоево народа, Аввакуме, што, на тебе разве? Возри на Царя своево в одночасье. Вот же оно, всевластье! Лютое горе то, а не счастье. Благодари Господа, што не родился Царём! Што простолюдинами живём... народом простым, святым и помрём... А кровь, шум крови в ушах, ты же ведь тоже СВИДЕТЕЛЬ, отче Аввакуме, живой свидетель всех судеб, коих не ведала я, всех земель, где я не бывала, всех яств, што я не едала... на колу мочало, начинай сказ сначала... Я-то зрела, как тя мать женила; а ты зрел времена иные — во Время орлиным оком прозревал — в Аримафее со святым Иосифом святое вино выпивал — вдоль по Парфии за Божьим хитоном, по ветру летящим, увился... за руку Марию Магдальскую вёл... слышал, как громко, трубно вопил Вербного Воскресенья осёл... а дорога пылила... а Господь ехал на смирном осяти к Своей могиле... и к Воскресенью... и к Вознесенью... сидел ты в мрачном, полночном саду Гефсиманском в

сиреневой страшной, влажной и звёздной сени... последний цветов аромат... последний запах смолы кедровой... о, кедровые Ливанские, царственны, черны и суровы... это ты, ты, отче, слышал со Креста последнее Господа слово... **ВЪ РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ ДУХЪ МОЙ** — не правда ли, так Он сказал?... повтори, повтори это мне снова...

Кровь. Она твой царь, хан, князь и шах. Она тихо и мощно, упорно шумит в ушах. Она омывает тебя, и в памяти вспыхивают твоей то шёпоты: любви!.. — то вопли: бей!.. Кровь течёт из раны вовне — это сквозь красную линзу Время гляди на просвет. Кровь течёт тебя внутри, в тишине — это значит: а смерти нет. Ея и в самом деле нет, разве ж я тут бы стояла, батюшко, рядом с тобой, в тебя из времени плеснулась, яко прибой?.. весь в крови мой там, за спиною, последний бой. А нынче сердце мне своё открой! Сколько раз в ночи, то ль во сне, а то ли нет, я шептала-бормотала твой — Господу — неслышный обет; твой потайный ирмос; твой последний кондак; на память вызубрила... зажала в кулак... Скольких я хоронила! Бессчётно. Не вспоминать. От Тигра, Евфрата и Нила стелилась кровавая гать. Не слёзы текли, а кровушка из ослепших очей... пел над убитым соловушка во мраке ночей... Кровь. Она въедается в землю. Ея впитывает земля. Кровь. Я ея не подьёмлю. Ползёт, красная змея. Вширь, вглубь, и вдаль, ищю дальше, далёко, закатной алой рекой. Кровь. Она так одинока. Ея коснуться рукой. На деле, на самом деле — в ней толпы, вече и гам, сраженья, сабли, постели, где роды и фимиам, в ней лица просвечивают, близко, далече, горят красные свечи, пылают голые алые плечи, небо красные ядра мечет, летит в зените красный кречет, да не птица то, хищный то человеке, кровавую пищу клюёт, глазом красным косит в народ, говорят, так в небе летит любовь, а кровь? Ей не надо слов. Ей ничего не надо. Ни пули. Ни взгляда. Она течь рада, и литься рада; она Богу на Кресте Распятому — награда; она вся вылилась в чашу Грааля; ея жадно выпила сухая земля, там, где мы не бывали; там, где мы не стояли; где мы не молились; так, отче, давай хоть нынче помолимся, сделай милость...

О, ты встаёшь... ты тоже слышишь шум крови... уста твои для молитвы наизготове... Молитва — это и сон, и объятие, и блаженство, и прощенье, и бой... бой последний... давай, начинай, мы оба сейчас за кровавой, кровной обедней...

Ты, отче, ходил по камням Рима, по скалам Эллады. И живой остался!.. твоя жизнь мне наградой, усладой. Твоя жизнь мне отрадой. По Руси мы оба ступаем. Инда по Эдемму, по яблочному, вишневому Раю. Мандарины в густо-зелёной листве... во смарагдах — топазы... Если уж умирать, отче, так с тобою и сразу; шток не мучили долго; шток не расходились страданья по красной воде кругами; и стану я тогда — красная ёлка, зело изукрашенная красными звёздами, алыми снегами... Я слышу кровь. Она, отченька, тихо звенит. Она колокольна. Оттого, когда ея проливают, так тяжко и больно. Так остро и больно. Так вольно — и больно! Сколько раз я стучала лопатой в мёрзлую землю, штокбы любовь мою схоронить достойно... А земля кровила. А земля — под лезвиём — мне в лицо брызгала кровью! И я клала любовь во могилу, и зарывала, и сажала цветы в изголовье, красные цветы, и они кровоточили жадно, и со креста чугунного ту кровь не смою ни сияющим бешаным летом, ни тусклой слюдяною зимою... Кровь, солёная, горькая... на губах. Это раненых я целовала. Кровь на вёслах, уключинах, на руках, я в лодке по разлившейся крови гребу ко причалу, к бедной пристаньке, в красных огнях, а волна мя пьяно шатает, и шток будет со мною в иных временах, один Господь знает... Выпить красновое, да, в помин. Зашвырнуть в разливы крови бутылку. Сквозь красную толщу виден рыбий сверкающий клин, видно рыданье моё на родной могилке. Видны все старые избы весей. Все древние стены забытых градов. Кровь, это просто музыки взвесь, а большево и не надо. Кровь, воли игра, Времени чётки, картография горя, Время нами играет, в крови умирает, внутри наших вздутых жил, с нами не споря, кровь, таинственная река, разливается снова, красный лёд ветра солёно ломают, кровь, ты умер, а в роду твоём твоя кровь живая, о, так тяжко, длинно шумит, и встают во крови виденья, одно, другое, третье, о чём она

говорит, зачем длит прощенье и наважденье, кровь, солёно, хинно, полынно, горько, горячо, текуче, встают народы, войска и семьи, ди-настии, военные тучи, она, свободная, широко и нагло льётся меж всеми, кровь с кровью сплетается, люди друг друга опять зачинают, тому кровь чужая, убей, а тому, о, прости, родная, кровь, вязкий плов чужеземной победы, кровоподтёк на месте оков, кандалов, забытые снежные Веды, кровь берут в полон, кровью клянутся, кровью на песке пишут заклинанья, кто в запретную кровь влюблён, нынче скотом пойдёт на закланье, кровь на морозе дымится, летит красным и белым паром, всё, что омыто кровью, всё пришло неслучайно, недаром, кровь, батюшко Аввакуме, я тебе бормочу, не слушай, для иной, небесной музыки отверзи слух свой, открой крылатую душу, кровь, это музыка, отче, это целый громадный оркестр, это варган, это жалейка и дудка и лира, я слышу кровь окрест, я вижу алый флаг ея — на пол-Мира, в крови сшибаются, плачут, летят тела, выпирают локти, кулаки гранатами вон вылетают, кровь, а может, любовь, несвятая, да брось, святая, всё красное свято, алой заплатой кровь на мне, на тебе, на тех, кто был и кто будет, морды коней, танков гусеницы, человек в крови, это страшно, больно и гордо, кровь, рода клеймо, дымы крематориев, плающих изб, госпиталей, полных красных криков до неба... кровь, ты ей не прекословь, отче, она же тебе насущнее хлеба... кровь даждь нам днесь... Мирь, гляди, в крови весь... это Раскол, разрубили нас, разрубили... на душистое сено — и вопли измены... на святую молитву — и хищную, в задыханье, ловитву... на Положенье во Гроб — на дикий, последний вопль на могиле — и на Второе Господне Пришествие, в торжестве, во славе и в силе...

А любовь куда же от крови забрать... кровь, она любви и отец и мать... голая румяная баба выбегает на снег... свет струится у ней из-под век... в баньке, шипя, на камелёнку из ковша плещет вода... красная жизнь... теперь и всегда... я так люблю ея, вот беда... отченька, ну обними мя, я ж не изо льда...

* * *

(иду искать мой дом)

Мама ты знаешь тут всё разбомбили Мама это просто страшный сон мне снится Ты меня разбуди и проснись в крови в поту в мыле Проколовшая небо и время живую спицей Мама я больше всего боюсь после взрыва пыли Она зашьёт легкие нос рот сердце и печень И не будут светить никакие глаза как свечи Мама я больше всего боюсь чтобы тебя не убили Мама я тебя не смогу спасти если что ты знаешь А ты ведь давно умерла как забыть могла я И умер отец а я вот дрянь такая живая Но я противного свиста боюсь вот она пуля шальная Мама я знаю как пахнет война ни хлеба ни йода Соль в виде пороха крик в виде песни Война она повторяется год от года И новая грянет еще оглушительней мракобесней Мама я просто дура но мне очень страшно А вдруг полетит на нас много смертей Слева и справа Меня взорвут и стану в воротах Рая Ангельской стражей Сама себе призрачный Мирь сама себе хлеб и держава

Мама жизнь всё дальше а смерть всё ближе Давай я пойду искать наш дом я его потеряла Его взорвали надо жизнь начинать сначала Всё вру надо смерть начинать сначала Мама я больше всего боюсь что ТАМ тебя не увижу

* * *

(Аввакум и я: речи наши)

Она мне денно и ночью баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матери, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чудовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоеет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и непрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разевает, штобы к Богу Господу воззвати.

Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее.

Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеш зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем — нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древней лоды подземной восстанеш лишь на Страшном Суде!

А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога — не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.

Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самово Времени нет как нет?

А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Атикке гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился — да там и пропал... И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин...

А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановится ему, не прервётся: он нас всех побороть хочет.

А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеш под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувьркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею... Ежели кровь наша с нами — не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!

А она внезапно предо мной на колена встаёт. На мя взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывёт Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея — не признал... Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Вся жизнь она зрит — вашу и мою.

...Мирь медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку

и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мирь, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и мирь. И война будет постоянной, а мирь будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроеет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у мя за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мирь станет люот. Мирь станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.

...и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чево уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, поканянем?..

А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.

Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и Солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, што время течёт рекой. А там — сумасшедший покой.

Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь — к себе, а хочешь — к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается, играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится... беспечные пляски, румяные лица! На рукаве —

птица-синица жизньию прежнюю снится... И вдруг — раз!.. — и канет... розой увянет... перловицей манит... плясать не престанет...

Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт — копьём навьлет летит. Он один. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копьё летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слёз. То Время тяжёлое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовью. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодарни за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Чрез Триоди и Святыи и землянику могил.

А вот и четвёртый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака — тайна. А мне — любим и свят. Для него одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.

А пятый Времени слой... о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времячко движется вспять. Вспять — для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд — то назад. А потушенные свечи горят. А убитые — воскресли. А порицаемый — свят. Ежели жить заново... ежели... коли родиться вдругорядь... споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать...

Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд — всё захлестывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает оморфом. Всё заключает в объятья. Все — родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём — сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас — двенадцатью языками — говорящее. Нами — языками огня — в предвечной ночи — горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течём, при-

текаем, в него реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своюю радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы — потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым... для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало...

Оборвала речь бессвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из угла тела. Я молчал; а што было говорить? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнуться, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будто я бессмертен меж смертными всеми, будто я не протопол жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене... да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желаешь, да будет то больно, а не забоишься? не захоленет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо... я пошутила, отче... я ж твоей пятки не стою...

Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сей час. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ишо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.

* * *

(Аввакум и кровь)

Людие, людие. На ково вы делитесь? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистошим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Мирь, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля — авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племён, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка — признак живого. Того, што ты, брат, живеш. Ну живеш; живи

и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесёшь моя смерть.

Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче — об ихней смерти. Смертушка. Я во многих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонущке — везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чего предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё — говорил.

Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самую душою — думать, сокрушаться, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволу. Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!

Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.

Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провеживали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черёд, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашёптывали: чем долше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.

А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошея, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнём горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленах предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить.

Пантелеймон целитель. А под дровёшками кося валяется, старая, да острая, ишо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажать рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзити — а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица моево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во вся жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ишо на земле, — а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, уroda, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божиим храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!

И отшвырнул я от себя острую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготовливая. И ужаснулси самому себе, будто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице моё было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая... Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ишо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ишо будет! Так зачем поперед веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?

Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубоко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будь-

то я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда... а на порог взошёл боярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадя с детьми на сенокосе была: как раз тою косою, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло всё стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она — на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.

И ссилился тут я, и приподнялся тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што — не срок мне нынче. Ишо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Далее! Ступай с миромь! Отыди с миромь!

И она отошла.

А на другой день явились в село скоморохи. Начали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице — Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал.

По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлёб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня... кровь... лилась... во снег и грязь... и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь...

Наша беда — мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы — поздно — везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем всё в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!

Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы... на краю бытия...

Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она — теперь у тебя, человеце, одна. Когда, о, когда же, когда пробьёт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнём вспучатся все материки... а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки...

Когда, о, когда, в самом деле, по-настоящему мы умрём, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарём, разобьёмся ли, кони вдруг понесут, али нещадно, в кровь, нас избыют, ничево мы не ведаем... ни годов, ни часов, ни минут... Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти — мгновенье твоё последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб... Ты мнишь себя безсмертным, ты, ветка краснотала, безконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твоё мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она... а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна... Смерти никогда нету в настоящем; она явилась — а ты уже нет! О радость! огонь молящий, палящий... на тыщу живых вопросов — один погибший ответ... Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду — Крестом... Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; голоса их в небо идут; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела:

ишо час, ишо пять минут... Ты воззри на себя из будущего, человече! Хотя это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак... Так человек осознаёт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь... Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе... таков убийства чёрный огонь... Ты убил котёнка, чижа, жука... утку на первой охоте... ты убил человека, чужово, родново... слышал ево дикий стон... ты не Бог, а жизнь отнял... смерть, непостижимая! ты над нами в полёте. Ты наше завтра, но ты даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут собиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то всё равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённы поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же бессмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас — у нас, у крови весёлого гона, у родильного стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея — заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молили!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза... Умирает старая кровь, ежели новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже... древние грозные льды... Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она — живая! И, живую, ея попросить... ей взмолиться... штобы мимо — ея следы... Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном

апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым... за тебя принимаем чужие страшные лица... лица, лица, лица людские... улыбки, морщины и кровь... красново снега тяжёлый ком... Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит... может, в небо красной хоругвью взмывает... надо всеми, над Мiромъ моим... кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе... не кручиньтесь... ведь смерти нет... глядите, лишь кровь и дым...

Только дым и кровь, только древлее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до безсмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить новаго Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся безсовестно грешная, жаркая, бешаная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся — потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.

* * *

(взорванный дом: письмо с войны)

детство детство ты мой дом я голодна по тебе всегда всегда из развалин я слышу стон эй люди скорей сюда детство мы жили в погребке твоём мы заикались когда стрельба вот бы крепко обняться с мамой вдвоём а война стороною пройдёт слепа кто нас спасёт у нас есть Царь князь воевода опричный полк спрячусь от смерти в мышинный ларь там хранятся подзолы и шёлк там хранятся крупы и мёд хохот и слёзы хлеб и вода смерть летит недалёт перелёт сегодня живы навек навсегда детство ты просто дом на века в тебе живёт смерть и кровь горит детская кровь это народ кровь за кровь ничком и навзрыд кровь отдать за кого за что прямо в дом целит снаряд в мамино старое плачу пальто небо горит слёзы горят не видошат говорят никто что Рай обратился в Ад

* * *

(я: глаголю о Настоящем, откуда пришла)

Батюшко. Да ты послушай, слушай мя. Выслушай. Да кивай, коли не веришь; просто так кивай, для успокоенья моего. Я-то на твоём языке говорю, а ты на моём не смогаеши. Ну и што? А то. Язык, он один. Народ — един. Што вчера, што далёко, завтра. Туман обвяжет то дрожащее птичкой завтра, слоями, покровами, погостами наляжет, не рассмотришь. А кровь течёт, коли ранят иль убьют, на землю вытекает, всё такая ж красная, дымная, — живая.

Я притекла к тебе из моего Настоящево. Моё Настоящее — спросишь, каково оно? А рассказать — не смешно. Да в любом Времени, отче, смеху-то и нет; за всё держи ответ. Снег так же там густо, щекотно валит с небес. Так же волчьи молчит лес. Там так же стреляют, убивают, казнят. И так же — из гроба — не воротятся назад. А я тут пошто, спросишь, почему? Сама не ведаю; поторчу близ тя, отченька, да и уйду во тьму. Подхвачу, вон, в уголку перемётну суму. Давай нашепчу; што, и сама в толк не возьму.

Моё Настоящее. Костром горящее. Свечой дрожащее. Рыбка ледащая: уклейка, сорожка, на ушицу мясца крошка. Нету жира, навару. Настоящее, а будьто древнее, старое.

Ужасно моё Настоящее, отче. Тягостны дни; бесконечны ночи. То воюют народы, то ждут войны. Про войну снятся безумные сны. И мне снились. Я Бога просила: возьми от мя те сны, Боже, сделай милость. Очистил Он от черноты душу мою. Всё светло вокруг стало! И я увидала — стою у пропасти на краю.

Што, вопрошаешь, как попросту мы живём? Да всё так же, как и нынче. Хлеб жуём да водицу пьём. Водица течёт изо ржавых труб. Горечь достигает дрожащих губ. За труд всё так же платят монету. Кто трудиться не может — бредёт с котомой вдоль по белу свету. Все люди, отченька, могут друг с дружкой балакать на большом расстоянии; лепечут в маленький ящичек разные словеса, а собеседник слышит твоё дыханье, ловит смешки твои либо всхлипы твои. Чует злобу, даже ежели врешь ему о большой любви. Чует любовь, даже ежели сурово це-

дишь скупые слова: чувство, оно же как кровь, оно течёт, благо ты ищо жив, ищо жива.

А то ищо все людишки друг с другом вяжутся в одну-единую незримую Сеть. Того нельзя ни услышать, ни подглядеть! Чрез особые коробы железные в ту Сеть можно себя вплести. И навеки ты — узел ея; и весь Мирь у тебя в горсти. Да всё, в тенётах ты навек. Ты журчишь водою. Ты с небес валишь, снег. Ты ловишь собою рыбу чужую, да не ты ловец. А кто? Господь Бог? И не Он, ни Сын, ни Отец. И ни Дух Святой. А Тот, Безымянный, што незримо и молча стоит за тобой.

Вместо слюды да бычьих пузырей у нас в окна вставлено стекло. Хрупко оно, бьётся легко, ударь скорей!.. — и вдребезги. Время ушло. Не вставишь заново, не глянешь ево на просвет. Было оно, Время, и вот не было — и нет. Руку посунь — вместо Времени — пустота. Та земля, да уже не та. Тот град, да уже не тот.

А мимо тя Тот, Молчаливый, Безымянный, идёт.

А то ищо нас, отченька, обуял глад и мор. К зениту взмыл отчаянный хор! Люди вопят! Люди блажат! Не хотят помирать! Неизлечим жуткий мор; несчётна ево дикая рать. Надвигается, нас косит громадной чёрной косой. Пред ним все двери закрой — а он влетит в окно! Неслышно хрипит: помрете все всё равно... Мы сражаемся, отче! Мы умирать не хотим! Подымается к небу с земли улетающий дым. Это тела сжигают. Это воскуряют ладан святой. Живу одну жизнь, а она уж другая... иконы мвром плачут во храмовой тьме густой...

На улицах мёртвые лежат. На скорбных одрах возлежат тела. Эта хворь неизбывна. Нам теперь с нею жить, вот и все дела. Я тово не хотела тебе, батюшко, говорить. Да видно, так надо; ведь и у тя, отченька, попросят: пить! Ведь и ты, отче, у ближнево однажды попросишь: пить... Ты ж не смерть, ты косою не косишь, ты живую, травную, кровную вяжешь нить...

А я там, в моём Настоящем, иду по смрадным улицам, трупов всюду тьмущая тьма, и как это я, отче, до сих пор не сошла с ума, я не знаю, как эта зараза зовётся, может, антонов огонь, может, иная чума, да только Мирь в Адов бочонок чёрным млеком щедро льётся, и глотаем мы ужас и скорбь задарма... И у мя в руках, отче, знаешь,

пузырёк малый, прозрачный такой, как сосулька весенняя... еле держу ево ослабелой рукой... и из того пузырька стеклянново, будто иерей — мвром иль на соборованьи елеем, помазую на земле лежащих — и мертвцов, и живых... к ним росомахой подбирается тьма... ищо дышащих... снадобья не жалея... то масло розы, и цветы я сбирала сама... И они разлепляют глаза свои, раскрывают уста на последний, пьянящий земной аромат — жизнь, огромная роза, пылающая и святая, память лишь о тебе, Райский Сад!

Да, отче... земля — Райский Сад... мы ея опоганили сами... сами под виселицу себя подвели... сами себя бросили в пламя, растоптали коркою хлеба в пыли... Сами... всё сами... а может, Настоящево нету... может, я живу, отче, здесь и сейчас, и к тебе прижимаюсь голой планетой... яко Луна к Земле... навек ли, на час...

Што, спросишь, как же мы выкарабкались из той оглушительной хвори?! Как смогли ея победить?! А никак... лишь умирать на просторе... лишь хрипеть напоследок это вечное: пить!.. — то ль врачу-исцелился-сам, то ли прохожему, в лохмотьях, язвах и кашле, то ли любви единственной, што твои руки крепко сжимает в своих... штоб тебе идти по дороге смерти было не больно, не страшно... штобы ты мыслил: средь мёртвых тако же хорошо и семейно, как средь живых...

Тихо, тихо... Не утешай, не надо... Рассказ мой окончен простой... понял ли ты што али нет, не ведаю... мне и молчанье — награда... мне и рука в руке — невыносимый свет... Я просто птаха малая, зачем-то из Настоящево в моё Прошлое прилетела... в твоё, отченька, Настоящее... Времени нет, ну поверь мне, поверь, поверь... Я всево лишь дух, никакое не тело, я всево лишь в твоё Грядущее открытая дверь...

А, ты про Грядущее?.. изволь, давай туда вместе заглянем. А ты знаешь ли, отче, што два-то у нас Грядущего, два! Как два глаза. Две руки. Две ноги. У двух образов Будущее помянем: у Распятья и Богородицы, што Заступницею Пречистой над Миромъ жива.

Возьми мя крепко за руку, отче. Только не отпускай руку. Слышишь! ты!.. только руку!.. руку, руку не отпускай! Мы увидим сначала одну, на пол-Мира, последнюю муку. А потом оба узрим Грядущий, возвращённый наш Рай.

Первое Будущее — ох, не приходило бы оно лучше. Лучше б сдохло оно, метко простреленное, насквозь. Да охотники мы неважнецкие. Положились на случай, на извечное наше, ленивое наше авось.

Видишь выжженную равнину?.. снега иль пески то белые... ветер их перевивает, в кольца свивает, в петли, круги... До погибшего Мира, отченька, никому во Вселенной нет дела. Все погибли, все умерли. Все убиты — друзья и враги. Это ужас последней войны, невероятной, а ведь настала. Расстилается тьма, безлюдье, безлизна, пустота. Расстилается — без человека — Мирь. А Бога там нет?.. только Смерти жало?.. значит, ея победа... выходит, ея торжество... без Господа... без Креста...

Отвернись... не гляди... очи выглядишь, вытекут с горя. Повернись в иную сторону. Мимо смерти смотри. Видишь, видишь?.. на невиданном, на громадном просторе Землю, звёзды, Солнце, Луну зришь снаружи и изнутри. Это, отченька, наше Грядущее... я ж говорю, иное... эка Космос великий играет нам всеми гранями!.. инда алмаз... весь цветной, рубин, малахит, лазурит, шалью вспыхивает ледяною... видишь Ангела?.. он летит над нами... здесь и сейчас... Улыбается Ангел, тихо поёт!.. на дудочке нежной играет... утомлённый дорогою дальней, крылатой, по небесам... он чудесный вестник безслёзного, звёздного Рая, он нам — музыка, мвром святым льющаяся по щекам, раменам, по устам... Видишь счастье, Грядущее?.. не сомневайся, оно так и будет... а первое Будущее — это всё понарошку... это всё лишь игра... будет свет, радуга, музыка, мандарины и яблоки на серебряном блюде... верьте, люди, о люди... и так будет с тех пор сегодня, завтра, вчера... Будет радость, о ней ты, отче, всю жизнь и моллился! За отцами, святителями, преподобными, равноапостольными всё: «Радуйся!..» — повторял... Ты лети туда... только в радости не забудь дорогие могилы... только в радости исповедуй веру родную, начало начал...

Ну, а я, отченька... разреши, я пойду. А куда, и не спрашивай. Содрогнёшься, узнаешь коль. Ужаснёшься... захочешь со мной... Напоследок дай испить вина. Дай кусочек свежево брашна. Загляни мне в лице, седой, озари улыбкою молодой. Поцелуй: устами прикоснись осторож-

но к бледному, ледяному, потному, светлому лбу моему. Всё, што было меж нами, это свиданье, немисливо, невозможно. А теперь я уйду во свет. А тебе помстится — во тьму.

Свет и тьма. Тьма и свет. Равновелико похожи. Равносильно насущные. Равномощно обнимут нас. Обними и ты мя, отченька, до кости, до рыданья, до дрожи. Пока живы мы. Пока ясный огонь не угас.

* * *

(протопоп и боярыня Морозова)

Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратился. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я чрез головы всех воззрился!

...да и понял живёхонько, што к чему.

Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.

Куда? На суд? Опосля суда — приговор исполняти?

Каково я здесь-то оказался? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во бладе и хладе... Ничего не понимал, однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею — мимо мя, грешново, неслися.

Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси — и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчущке безымянном — рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея багогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь — с голоду помрёт, а воскреснет она.

Везут! Везут, Господи... Укрепи ея, поддержи ея... Любимицу мою, ученицу смиренну... Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищальм — кров давала; безверных — верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих — надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!

Мимо, мимо розвальни... На снегу сидит, скрючившись, ноги под себя поджавши, в отряпых и чугуных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, дай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услышал мя, на болярыню в санях воззрился, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дочь Твоя за Тебя нынче — на смерть идёт!

И глядел я ясно вперёд себя, и нашёл глазами в санях — лице ея.

...И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами — к перстам... Гудит жерло толпы. А в горле — хрипнет: «Исуса — не предам». Как зимний щит, над нею снег вознёсся — и дышит, и валит. Телега впереди — страшны колеса. В санях — лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней — болярыня, двуперстием воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, — сгниют в земле, умрут... Так, звери, што ж тропую ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездой Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, — гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!

Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес — отвес — на руку, исхудавшую убого — с перстнями?!.. без?!.. — так льётся синью, мглой, молочной сладью в солому на санях... Худая

пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, — и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова — в Миру в палачьих розвальнях — пребудешь вечно гостя у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Ево читала всей кровью — до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдая обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своею любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужичьих век. И в той толпе, где рыбака два пьяных ломают воблу — в пол-руки!.. — вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз — ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою — Христос.

И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом — в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольново огня, от вставшево из трещины кострища — ввысь! до Чагирь-Звезды!.. — из сердца бабы — эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.

Горит, ревет, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огонь — он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег — в яму и тюрьму, на розвальни... на рыбу в мешковине... на попика в парче... Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица — на плече... Как поцелуй... как нежный, неутешный степной волчицы вой... Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распяты над бугром...

...И — катят розвальни. И — лица, лица, лица засыпаны серебром.

...и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью за-

сеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят... Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинеце старый, годами трёпаный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыщвел, сам цветом дождя сделался выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщианьем, со любовью. А я стою, в раздумье тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь — вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститься! А што взамен тово?!

Везут... везут мою дитятку духовную... везут мою цариценку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку... в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она... она не покачнётся... руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея... и — вижу — двуперстие из пальцев исхудалых складывает... и ищо выше, выше тянет... вот же оно, вот — Исусово крестное знамение! Исусов знаменный распев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дочь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья — брёвна стоеросовые, тя везут — ах, знаешь ли, куда?! на што?..

...и тут болярыня моя на мя — свои широкие, будто лопатую выкопанные на метельном лице тёмные очи — перевела.

...узнала. Она — мя — узнала!

Споведала!

Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови соболю на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилось; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины — глядела, и со светом Божиим — прощалася.

А длань с воздетым двуперстием — не опустила.

Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.

Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и деревянных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилось, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своєю хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!

— Аввакуме!.. отченька...

Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирий, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущего человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обьмаетесь на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженно. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами izdelannую, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающею с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал — всем.

Всем сушим.

...не сознавал, што же такое со мною.

...чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.

...и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрачками вдаль провождающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашево Исуса Хрис-

та, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристями, над безумными воробьями и Ангельскими голубьями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, громадные Три Креста, и на одном, в самой середине, в средоточии Мира видимово и невидимово, висит-раскинулось, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево — два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!

Да што там: сам Господь на Кресте — их, татей, простил!

И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший — Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:

— Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём!..

И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моём хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновение стал зрети. Весь Мирь, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам — в тот весь Мирь разом обратился.

И я, сиречь весь Мирь, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силёнок:

— Нынче же будеши со Мною в Раю!..

И это раздалось, раскатилось по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:

— Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у...

И не устыдился я, не засмушался, што я на

глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.

Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.

А вот таковое — назначено.

Имеющий уши — да слышит. Имеющий душу — да простит.

Прости, спаси и сохрани мя, Господи.

...так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтя-загогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащево санново полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней — бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шёпот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастново виденья, от метельново колыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всево и вся по именам называнья, и я старался, идя, всё забыть, всё простить, што было и чево не было; я шёл и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, тёплые, старые, юные видел, шёл вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шёл один, а как будто все разом, шёл один, али тьмой тем, уж не ведал, а на мя косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я безсвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.

* * *

(девочка и мать ея: письмо с войны)

Мама, мама, я просто малое дитя твоё Я хочу чтобы на руки хочу чтобы крепко к тёплой груди Я всё знаю мама про быльё и про небытиё А про новую жизнь ты мне сама расскажи под снега-дожди Вон они за окном стеною и сном всё встают и встают Мама мама ты знаешь когда вырасту я хочу Стать для путника проводницей там где берег крут Там где боль и боль умирают плечом к плечу Там где Мирь и Мирь сшиты крепко чёрной войной Этой чёрной заплаты с атласа белого не содрать Мне всё кажется это не с тобой не со мной Эта жизнь ли смерть молитва ложь благодать Всё наврала нам ты от удара вчера не умрёшь И меня не застрелят завтра ни наводкою ни из-за угла Мама мама Мирь на малую меня так похож А война она же закончится и все дела А ты там на том свете вяжи всё так же вяжи То берет то кофту то шарфик то штопай бельё То на кухне точилкой точи тупые ножи А я знаешь завтра воскресну во имя твоё

* * *

(Царь Космос и Аввакум)

Ах, сколько ж мя били. Сколь шпыняли. Агнали, лупили по спине дровками секир ли, копий. Я-то желал вид принять холопий, да не мог, не мог, душа не смогала! Вот болярыню мою на смертушку в санях увезли. И што? Разве ж я ея забуду? Да никогда, вот во веки веков, вот клянуса чем хошь, жизнью ли, гибелью, мне нынче всё едино! И розгами солёными мя охаживали. И плетью-девятихвосткой донимали. За што, за што люди ненавидят человека, брата их, друженьку их? За што бичуют, пытаются? А кто разьяснит! Вот на казнь лютую мя поволокут; да кто ж по мне заплачет? Разве родные-родненькие? Ах, жёнка! разбитая маслён-ка... квашена капуста... без тя, жёнка, ох, на небеси будет пусто, таково пусто...

Да, людие... зло, мерзкое зло всё живёт на земле, таково живуче оно, а мы зовём к себе смертушку, когда уж невоготу нам, когда не сдюживаем жизнёшку... непознаваема смерть,

страшно, страшно человеку ея дикий каменный лик зрети. Вот балакаю — каменный; а может статья, живая она! И морда у нея волчья, и огонь палящий, краснее крови, заместо волос с главы ея на костлявые плечи струится. А ведь только зреть мы ея можем, только глядети в ея рожу... а беседовати с нею никак не выйдет, безмолвна она, немая навек, и мы онемеем, на нея гляючи, она и нас немтырями, пред ней смущёнными, сотворяет. И покаяться-то мы во смерти перед Богом, будто во грехе каковом страшнейшем, никогда не можем, ибо для всех уход в потайные, паутинные неги назначен: што для каждой малой букашки-стрекозки, што для Царя Грозного и Великого. Покаяние, людие... что есть покаяние на земле? Покаяния отверзи ми двери... покаяние паче гордости... покаяние превыше любви человеческой... а превыше ли оно любви, ответствуй, Боже, Господи Боже мой! А Бог-то, Бог наш каляся ли когда али всё молчал... сердце на замок... уста закрывши, зубы сцепивши... в Гефсиманском саду рыдал наш Господь, умолял Отца: отведи, отбери от Мя чашу сию!.. да на реках Вавилонских, да, на реках Вавилонских, на Тигре да на Евфрате, люди из реки зачерпывали да и пили счастье из горсти... а их побивали мечами, камнями, копьями, продавали за грош-копейку, предавали... Моисейскую песнь великую поют во храмах во время неизреченное, во неделю о Блудном сыне... я тоже пою... и я, грешный, пел... аз есмь многогрешный раб Божий Вакушка... сколь раз глотку мою надрывал: парастасы и кондаки, ирмосы, тропари, полиелеи и стихиры, апостоли, мученицы и пророцы, святители, преподобные, равнопостольные, страстотерпцы — все вокруг мя частоколом густым стояли и всё мне в лице моё шептали: Рая на земле твоя, батюшко Аввакуме, вовеки не случится; земля есть, а тебя, возможно, уже и нет, иди ты за Богородицей, лехчайшими стопами Она шагает по облакам, лазурные одежды за Ея спиною по ветру выются, иди за Богом своим; это так суждено тебе, метели насквозь, вьюге поперёк, пройди за Ево великим ходом иным путём, твоею дорогой... твою дерзкую наготу только не забудь прикрыти. Не забудь стыдиться тово, чево на-

добно на земле стыдиться, и не взирай туда, куда заказано глядеть, и не делай тово, што воспрещено тебе делать от веку; иди торжествующе и радостно, на весь Мирь крича песню, прямо в Рай, и рубищем, подаренным мимоходом каликой, закрывай тело голое твоё; так телеса закрывал свои праотец наш Адам... часто, часто люди себя отроками вспоминают, слепые от последнего счастья оченьки свои горе, вверх, всё выше и выше поднимают; а там, в выси, синие льдины, чёрные, дымные грозозные небеса... так подниму глаза свои, давай, воплю, прямо гляди на святое, не отвори лица твоего от раки Твоя, Господи Боже мой... величит душа моя Господа, и всюду Царь Давыд, со всех страниц, со всех золотых алтарей ево ясных глаз, ево царской браны и униженных перстнями пальцев — тихое сияние... песни ему каждый день готов петь; пускай из глотки моя натруженной сия песня излетает, праздничная, солнечная, бесподобно на весь Мирь распахнутая... Знаете, людие, есть такая икона во храме правоверном: прозывается Царь Космос. Вот вы спросите мя, што за Царь таковский и почему нерусским, не нашим имячком зовётся. Царь Космос. Чёрный, густой, дегтярный плат, смоляной хоругви наподобие, и смотрит на нас изо тьмы той предвечной, из угольной Вселенския мрачности человек да Царь; не Царь Алексей Михайлыч, а Царь Небесный, нет, што я каково жалкое словцо изронил, нет! Надмирный, Превышенебесный; душа не ведает, како ево восхвалити, не держит слов за пазухой таких душа живая, и я не храню, а только в лик Ево золотой гляжу, ясный, светлый, круглый, инда Солнце али Луна; латунный свет лучами во все стороны от Нево исходит, а за Ним-то чернота, маята, беспросветный мрак, безобразная, довременная тьма: золотой радостный праздник на весь Мирь празднует, нам, жалким людям, улыбается, а на голове Ево, Царя тово, корона, будто смеющаяся пасть китайскаво дракона; зубцы, яко чудищ языки жадные, яко лопасти али лепестки громадной Райской лилии, наружу выворачиваются... бронзовые лопухи, огромные листья невероятно, неземново древа, золотые, шире санново пути, разлапистые ладони, и все сплошь усажены драгоценными

каменьями, аж зрак робкий свеченье то ножом режет, и глазам больно, и стою противу той иконы и жмурюся, а опосля опять очи мои жалкие, смертные, отверзаются, и Царь Космос глядит мне в душонку бедную, Время халву свою астраханскую и виноград свой персидский звездами рассыпает предо мной, с белой, снеговой бороды Царя Космоса они сыплются; чую, грехи пора исповедать мои, чую, долги пора возвращать мои, и зрю, уста Ево снова, яко рыбы подо льдом, медленно шевелятся, и хочет Царь мне слово единое вымолвить, слово самоцветное сказать, да неизреченное то слово не излетает из уст Ево: навеки онемел, небушко Ево безъязыким слепило... а внутри себя слухом тайным, внутренним, вроде бы и слышу голос Ево сильный-твердый и вместе нежный, глухой и вместе звонкий, грозный и вместе милующий: батюшко Аввакуме!.. што замер, на мя гляючи? Да весь видимый Космос есть предвечный Царь пред тобою!.. но не казнию ты векеи, а лишь помилую, во смерти помилую, во пытке поддержку, на плахе обласкаю, на костре обниму и утешу... я надо всеми, и Христос, Бог Мой, Сын Мой, Сынок Мой едиnorodный, Сынок Мой возлюбленный, со Мною, и все, людие, вы дети Мои: под чёрными-непокорными, синими-всесильными, звёздными-грозными желаниями моими толчѣтесь-грудитесь, ко Мне, к ладонями-коленям Моим всё липнете, без Меня жить да умирать никак не пообвыкнете; земной Царь тебя предаст, а я, я, Царь Космос всенебесный, многосердый, всетелесный, никогда не предам. Так стоял я, слушал Ево, сердчишко моё слабое, смертное замирало, и шептал я Ему в ответ, и рот вздрагивал мой, а глотка ни звука не издавала; дрожал я весь, мелкой дрожью, яко сыпью болезной, покрывался, дождевой холод объял мя, инда ливень бил-хлестал мя изнутри; а сердце под рѣбрами костром рыбацким, алым в ночи, дико горело. Итак, шептал я Царю Космосу, грешныя стопы моя направи по словеси Твоему, так в Сибири поют, я и Тебе это пою: во Царствии Твоём помяни мя, грешново, Господи, помяни нас всех... Господи, помощник и покровитель, бысть мне во спасение... все кондаки разом вспоминал, все ирмосы, и сразу Царю

Космосу те знамѣна, любимые, громко спел, возопил на весь белый свет, а голоса-то нет, есть только мысли да сердца биенье неутешное, в небеса возносящиеся: с нами Бог, разумеите, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог, да, с нами, с нами, счастливыми... а лице всё моё залито горячими слезами, горечь и соль на губах, вздрагивают уста мои недостойные, да словно в зеркале чёрной яшмы, дрожат уста Царя Космоса на иконе, и оба мы вместе, друг в дружку, глядимси.

И я всё шепчу, сердцем шепчу: Господи Сил, с нами буди.

* * *

(несыть, наледь и глад)

Сибирь, мой имбирь, мой пряник мятный, со узорами-фигурками, глазурью молочного расписанный, размалёванный снегами-полудурками. Жена да детки ревмя ревут, мя в тебя, Сибирь, везут, у рек твоих брег крут, — ахти мне, да не убьют! А лишь до крови, до сукрови измолотят-изобьют, и потечѣт та кровища-сукровь по сукну, по дерюге да в песок... Ах, держися, протопица, моя бедняжечка, за мой Живый-в-помощи исподний поясок...

Настя, младенца ты живаго родила, а нужды камнями навалилися, радость наша сгорела дотла; хворую Настасьюшку да в скрипучей телеге прямиком до острога Тобольскаго везли-везли, а младенчик орал пуше раненой росомахи в тайге рыжекудрой... вопияше, инда на краюшке матки-земли!.. Мне поведали разумники-картографы, что мы, грешныи, колѣсами да ножонками промерили три тысящи вѣрст; трясли денно-нощно дряхлыми одежонками, запахивались, заместо тулупов, в пургу да в мороз... а в санях протряслися ишо половину пути — и зрю над собою в ночи угрюмые лица: не спи, протопоп, застынешь, как пить дать, а нам-то, вишь, ишо долгонько брести!..

А моево вернаго дьяка Антония вражина, имечко ево христианское, Иоанн, однажды схватил за шкуру, будучи непотребно пьян, и на снег выволок, и руки Антонию за спиною связал, и мимо храмины в избу себе поволок — а там-то: в рожу огонь! в зубы сапог! Мучил да

мучил, на всю жизнь изувечил, а дьяк, не будь дурён, возьми да от него улети, быстрее камня из пращи... да ко мне, дрожа, прибежал... теперя ево ищи-свищи... я раны ему промыл черемичной водой, ромашкою пересыпал, ветошью перевязал... на мои полаты спать уложил... а Антоний всё на мою Настасью во все глазёнки глядел — ничево не сказал... Лишь наутро, когда затемно за голый стол вкушать пищу сели, выдохнул, будто задул свечу: экая протопопица, инда сама Богородица... не кощунствую, батюшка, молчу, молчу!..

А я обернулся — и вижу: на краю длинной сиротьей лавки сидит Настасья моя, а у груди ея младенчик, уснул, слава Те Боже, в охвостьях с чужой плоти белья, наелся, родимый, болезный, тощеву материна, сладково молока... напился впрок, на перекрестья дорог, на все, Господи Ты нас прости, безпредельные, бездонные, безродные века...

А што ж!.. и правда, а што человек лишь года малые небо копит, века не живёт?.. «Хочу, штоб ты пребыл, доколе Я не прииду!..» — рек Господь Иоанну-ученику, отправляясь в небесный полёт; а Настюша, и верно, сидела смиренно, хоть нынче иконой в медный оклад, и белки глаз сапфиром блестели, и волоса до полу упасть хотели, русой просёлочною дорогой, не вернёшься назад...

Времячко, время... и суток не прошло, как пострадал я от диакона Иоанна зело. Вечерню служу, снаружи лютый хлад, ишо до Сретенья, исход генваря, а тут двери стук, и настезь, и втекает Иван тот, поган, тянет крючия рук, да Антония за бороду — цоп!.. да о древняный настил лбищем — хлоп!.. по Антоньеву лику кровища так и хлынула ручьём... А я на храмовы двери — засов, да руки Ивашке выпростал из рукавов, да замотал за спиною вервиём, и ево, подлеца, мы с Антошкою-дьяком сперва ремешком, посля хворостиной гусиною постегали вдвоём! Эх он и орал! Красен рожею стал, што бабий, в ожерельях, коралл. А мы-то устали стегать... провались, оба вопим, да не пытай ближнево твоево вдругорядь!

И што? Подстерегли нас сродники Ивашкины. Средь многозвёздной ночи ломились в избу. Настасья дрожала. Младенчика у груди крепко держала. Невнятно бормотала — про

Бога, судьбу. Ах, судьба полынна, жизнь долга-длинна, вервиём то вяжут, то бьют, то снопы обхватят, то гробы подхватят... а жить-то — сколь там минут?.. «Пропадём, протопоп!..» — ея долгий вопль, а потом шёпот дикий, будто чужой, слышал я всем сердцем звериным, всюю Божьей душой... Дверь выбили — могучими плечьми, беспутными ногами! Врываюся, на лицах пламя, зубы в ночи кострами горят, белки бешанством непотребно блестя! И встаёт тут с постели протопопица моя, вижу — губы быстрым шёпотом молятся, глаза кричат, а прозрачные слёзыньки по скулам текут, не вернутся назад!

А ништо, никто назад не вернётся... всё едем, мчим лишь вперёд, вперёд... И я-то, иерей, смерть завсегда у дверей, доподлинно знаю: там, в конце пути, ишо далёко ехать-итти, никто — никогда — не умрёт...

И вставши с постели, и творя шаг еле-еле, шаг, един, другой, подбредает к чёртовым камам, а робёнок у ней на руках — спит, ровно во мягких облацах, не пошевелит ни ручонкою, ни ногой! И близко, вот она уже слишком близко к смертушке, к насильникам нашим стоит, — и внезапу тако высоко, к матице самой, как подымет робёнка, и валятся на пол ветошь-пелёнки, а малец не проснётся, таково крепко спит!

И тако возговорит жена моя, Богом данная, с неба манною, к убийцам жестокосердым душой обратясь: не обидьте, сердце с-под ребер не выньте, не втопчите в наледь и грязь! Мы живые же люди! Не индюшки на блюде! Не на Масленую — блины! Не грызите плоть нашу и косточки наши, усы от крови нашей не утирайте! А простите... да со двора утекайте... да штобы не было, Божьи ж вы люди, иль кто, лютой бойни, кровавой войны!..

И воздымает выше младенца. Кот полосатый трётся возле ея колена... и ишо один из-за печи медленно, важно вышел рыжий кот... А народ стоит, блестит в ярых оскалах зубами, и тут молонья между нами ударила: НИКТО! НИКОГДА! НЕ УМРЁТЬ!

Кто то слово молвил?.. Зачали оглядываться все друг на друга. Каждый каждому — черессдельник, подпруга. Стоит, высоко держит младенца супруга моя. И пятится, пятится прочь от

меня злыдень главный самый, дяк Ивашка, яко с порога храма, объятово безумьем, алым лихолетьем сплошного огня.

Эх, видал я не раз, как церкви горели! Те пожарища когда потушить не успели — на пепелище вставали кругом монашым да молилися... и молитва была нам — вино и брашно... И видал сто раз, как горели дома — и метались насельники их, сходя от тоски с ума: жизнь горела там ихняя, велиа радость горела, дедова, в телячьей коже, Псалтырь, древняно иконное тело... А иконописный дух?! Да пылал, бушевал за двух! А я воплю: прочь, выметайтесь во кромешну ночь, вам всё едино Господа Бога нашево не превозмочь!

И выкатились. И один из той толпы нечестивой, што вломилась к нам в дом да собралася нас, грешных, убивать — и перебили б всё бедное семейство моё, до смерти забили!.. у них во очах я это читал, ровно во Книге Пророков!... — шедши восвосяси, пал на улице и издох, яко пёс смердящий.

И вот тогда Царское слово, на бумаге витиевато писанное, прибыло с обозом в Тобольск. Расколос Царь нас, мечом рассек надвое, аки воин Царя Соломона едва не рассек младенчика, из-за коево повздорили две матери: мой да мой! поди, лико кровию умой... — ах, разрубил! и што? и то: это как икона святая: упала со стены во храме, раскололась надвое, и не сшить, не склеить, не связать, — не простить. Разве ж Бога Господа можно надвое — рассечь? А потом наново сочетать? Разве ж Он попустит с Собою такое сотворить?

А землю нашу, значит, так-то — можно?!

А жизнь человечью — разрешено?!

Ну што ж... што ж... В послании Царя писано бысть, стояло чёрным по белому: везти окаянного протопопа на Лену-реку. И потекли в путь. И добралися до Енисейскаго острога. А там, в Енисейске, ждал уж другой приказ Царский. Везите, мол, преступника в землю Даурскую! От земли Чудской до земли Даурской — вижу: насыть, наледь и глад... Раскололи любовь! да тропую узкой не вернёшься назад... Не уронишь хрусталь, не схоронишь печаль... так с тобою навек, нищий ты человек, твоя голь, боль и жаль...

* * *

(дошеник тонет)

Енисейский острог покидали. Оглядывали Есрубы, крестились. Когда ишо доведётся увидеть эти дома, эти небеса?

Небеса одни. Надо всей землёй.

И Бог — один.

А люди разрывают Ево на куски, кромсают, ломают, режут ножами.

И это не Причастие святое, нет. Это — безлюбье. Бездушье.

Бог — твоя душа. Потерял ты, брат, родич, соплеменник, живу душу свою!

Лошади тянули возки, телеги, кошевы. Он оглянулся на град, што покидал. Ветер трепал граду.

Протянулся день, другой, третий. Реки, холмы, шкура тайги, далёкие крики зверья. Когда вышли на берег Тунгуски, лоб крестили опять. Река! Жизнь велика. И слово надо сказать, штобы соединяло, штоб звенело и болело и всем ево слышать, не только себе под нос бормотать. А што есть такое слово? Слово было у Бога. И слово было Бог.

Ересь Никонова, изыди!

А ересь, што такое ересь? Гадость то, мразь, мерзость, да! А каково-то душе еретика, вдумайся! Вчувствуйся. Еретик, он опять же мученик. Да заблудшая овца он. Да вражина первейшая — не тебе: Богу опять.

Дошеник, припав боком к берегу, деревянный телёнок — к корове-матери-земле, ждал. Погрузились. Протопопица перетащила по доскам детишек: одного на дошеник перенесёт — за другим на берег бежит. В юбках запуталась, чуть в воду не свалилась, дитёнка на руках пьяно держит, качнулась, еле удержалась: устояла.

Вот так и надо устоять.

Стоять во што бы то ни стало!

Наш Господь выбрал это, вот это: на Своем стоять. И быть распяту. И мертву быть.

А зло, оно што? Оно неистребимо. Невытравимо из людского скопища! Вон гнус сибирский летает, клубится. Человека привязать ко древу — за ночь гнус съест ево до костей.

Погрузились. И ветер тут налетел! Ветер,

мощь, стихия, человеку страшна, борет всё, разрушает всё, коли захочет — всё в мире с землёю сравнивает.

Ударил ветер в бок дощеника. Перевернул ево, и черпнул он воды. Господи ты мой Боже великий! Помоги, спаси, не отринь! Потонем ведь все в одночасье! Водица хлещет, ветер ярится, парус рвётся, текуча вода, Мирь исчезнет, гснет под водой, погружаются медленно люди в яростную воду, во время, погружается мир в темноту, Бог, да Ты Свет, Ты един, на Тя уповаем, да не постыдимся вовек! Вот палубы, доски кренятся, ветер сумасшествует, — да мало ли в жизни человечей безумья, и вот, зри, тебе безумье юродки-природы довелось к сердцу прижать. И прости! Простишь ли, человек, природе да Богу страшную смерть свою!

...Жизнь, жизньюшка. Тебя нельзя начать заново. Тебе имя-то каково? Ты протопоп, звать тя Аввакум, жёнка твоя зовёт тя в минуту радости земной — Вакушка. Земное имя! Дать ево нельзя вдругорядь, и нельзя жизнь начать заново. Сибирская бурливая река, вода нахлынула, дощеник тонет, вот-вот на дно пойдёт, к рыбам да червям. Полна древняя утлая чаша ледяной воды! И по лету в тутошних реках вода холодна; холоднее смерти.

А вот жёнка твоя со детишками, вместе с людьми и дощеником, тонет. Тонет! И нынче утонет! Ты-то плавать смогаешь, а она не умеет. А всё, что потонуло, да разве же выплывет?!

Жизнёнка, летишь, малая, сирая ластовица... тощая, слабогрудая птиченька... то над реками... то над морями... над тайгами... в пустынях ветр пески, смеясь, перевивает...

Спаси! спаси! лишь крики над рекой. Лишь рваные паруса серых облаков в небеси. А и кто там во облацех, над тобою и сторожами твоими, протопоп? А это Господь Бог твой! И на гибель твою, и на гибель протопопицы твоей и чад твоих — торжественно, молча взирает! Ибо смерть — таинство велие есть; и неизреченна она; и пьянеют люди при единой мысли о ней без вина; и все поколения, до тебя бывшие, по лику богатой и жестокой земли прошедшие, уже в холодной воде, — а ты ищо идёшь, ищо идёшь. И вот — плывёшь. И вот — тонешь!

Уходит под воду днище твоё! Корма твоя!

Сосновый, гордый нос корабельный твой! Дощеник-то твой хрупкий оказался, жалкий! Протопопица на кривой палубе стоит, ребят к себе сгрудила, глаза по площадке, глядит на тебя, инда душеньку свою всю перелить в тя желает. Да! Так любит она тебя! Вот сей час! Перед смертушкой!

Власы бабы растрепались. Страшен вид ея! А што, ежели и земля однажды, в свой черёд, в черноте ночных небес — возьмёт да утонет? Ко дну пойдёт, да не к червям — ко звездам!

Орёт ребятня. И все люди блажат.

Пошто, когда человек умирает, кричит?

И лик свой к небесам задирает. Вопит надсадно!

Умирать — не хочет!

Господи, спаси! Помоги! Сохрани!

Да тонули, всё равно тонули, бесповоротно: видать, пробоина во днище случилась...

Обернулся. За их дощеником плыл, качался на ледяных волнах второй корабль. Там, на ево палубе, Царёвы люди и несчастные ссыльные, наказанные ни за што, просто за жизньюшку: за то, што на свете живут, — плакали и визжали. И бросился в воду един Царёв слуга; не разобрать, стар или млад; и сажёнками поплыл к Аввакумову дощенику, и уже взбирается по борту на палубу, как соболь когтями во кедровую кору, вцепляясь во щели меж досок. Корабль уходит под воду, а человек со другой лоды зачем приплыл, по шаткой палубе, полоумный, шарахается?! А! Из воды — за волосы — вытаскивает робятёнка! Так это ж, зри, протопоп, сынок твой младший! И отроковицу из воды хватает, и на бочку с солёною рыбой кладёт, бочка, чудо, ищо торчит из воды! А мать глядит. Глядит неотрывно!

Вся жизнь в ея очах; вся смерть. И синие от холода губы шевелятся. А ни крика, ни стона. Ни звука.

Вот уж все твои детишки на той бочке сидят. А Царёв слуга, по колению в воде, бредёт по скошенной палубе к тебе.

— Спас я семейство твоё, протопоп!

— А пошто спас?!

— А жаль мне тя стало! Всё же детишки! Божьи создания! Безгрешны они! Это мы грешны со всех сторон, протопоп!

— Как имя твоё?! Ежели живы останемся, в молитвах буду поминать!

– Егор!
 – Кому служишь, Егор?! Царю?!
 – Ему, батюшке! Кому ж ищо!
 Так перекивались.
 – Што стоишь како жердь, протопоп?! Богу молись! Авось Он зла не попустит!
 Почему ты запел, среди смерти всеобщей, тот кондак, из Постной Триоди, да зачем сбился на свою, из души, песнь, ты и не ведал.
 Необъяснима жизнь; и непостижна смерть.

...покаяться — многотрудно поплакаться — солнцелико отверзи ми двери прилюдно отверзи Врата Великие заутрення гаснут звёзды мигают во светлом храме свечей тяжелые гроздьи икона в дубовой раме икона в тяжёлой окладе то медном то кованой стали колючкой страданья ради оплетена — не устали мы мучиться навзничь падая в распутице — ниц распяты свечьми зажига пальцы где плачет Ангел крылатый смеётся где Божья Матерь с рождённым во хлеве Сыночком заутрення — вне проклятий от гибели вновь отсрочка заутрення тлеют звёзды ломаются с мёдом соты избави мя Господи грозный от всякия нечистоты

...помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...

...о, лютые грехи творил я, Господи. И въявь творил, и злобным, нечестивым помышлением исхищрялся. Грязен аз есмь пред Тобой, и во прахе лежу! И прах лобзаю, ибо прах, земля моя — то Ты, жизнь дарующий! Прости, Жизнедавче! Убоюсь, да трепещу неустанно, невозбранно страшнаго Дня Суднаго: тот Последний Суд земной и небесный, та всеобщая великая смерть, незримая, неслышимая, неопишная языками людскими, нелюдимая, неотвратимая, — и внутри, во чреве предвкушаемой той всеобщей смерти, видя воочию, как огонь ея объёмлет всё сущее на земле и за ея пределами, уповаю на Тя, надеюсь на Тя, призываю Тя, не токмо к себе, многогрешному, а ко всему нечислимому войску людей Твоих — и крестьян во полях, и ратников, на войну на конях едущих в мощных доспехах, и баб, детишек во утробе носящих, и деток тех бессчётных, то весело играющих, то от глада и мора Вселенскаго в

зыбках вопящих, и зыбки те станут им скоро гробы, — ко всем, ко всем Тя, Жизнедавче, зову, кличу нутром всем и сердцем неистовым всем Тебя одново, Господи Боже мой, призываю на ны милость благоутробия Твоего, — та коже и Давыд кричал-вопил в утонувших в море-окияне времён забытых веках; забыли мы, каково одевались тогда, што вкушали за трапезой, как миловались в застланных чисто постелях, а бывало, и под Солнцем ясным, в странствии, при дороге: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! Помилуй ны!

Нет, я не фарисей, нет. Хоть и грешен везде, всюду, со всех сторон. Нет! никою я не поучал, никою лживо не спасал, ни на ково не клеветал, никою комьями грязи не забрасывал, слюною ядовитейшей не оплёвывал.

Спасе Всемилостивейший!.. каюсь, каюсь и ищо покаюсь. Каяться надо постоянно, всегда, вечно. Не бойся каяться. Стыдно иной раз. Оторопь берёт: сколь же всево нечестивово натворил, настряпал! А к стопам Божиим припасть — всё равно второй раз на свет родиться. Исповедь — вот сияние. Яко Северное. Цветные шелка там по небесам ходят-бродят. Да и в Сибири-матушке таково видал. Красоту Господь каковую содеял! Для нас, грешных? Да! для нас! но и для Себя тож.

Молиться надо! И каяться! Везде, всюду: и во грязи, во прахе, и в Сиянии неизреченном! Человек то вознесён, то во Ад низвергнут. В Аду — не до красоты ему! А внутри поёт, мечется жажда велия — опять красоты, опять любви сердечко хочет, востребует. И въздыхаю. И возношу молитву, пред тем, как ко сну отправиться, всё ея шепчу-повторяю, а очи слипаются уж, и сил нет сонную, тяжёлую главу поднять, и протопопица ворочается на ложе, и детки хнычут, таково жалобно и тонко, како бельчата, бурундучки на ветвях сосновых, — а я стою на коленях пред святою иконой и всё бормочу, как пою, выпеваю душу свою, выпиваю суждённую чашу сию: спаси, Блаже, души наша.

...и волны, видишь, вняли, послушались молитвы твоея. И ветер внял: утих. И холодная си-нева, чистота страшная, смертная широково неба твоего выше, выше, в бездну Мира поднялась. В дощеник волны били, били, яко в бубен

шаманский, и прибили ево ко берегу: к песку да камням, и то снова была твоя земля, родимая земля, а уж могла во смертном сне привидеться-примститься. Воля Божья! На бездорожье! Не обидь ны, Господи, не обидь! Дай есть, дай пить! А я Тя люблю и так — зри, зажал Твой Крест честный во кулак...

* * *

(сон мальчонки Аввакума)

а я хотел бы стать поводырём такой красивой тётенки с тёплой рукою и чтобы волосы у ней на затылке тяжёлым пучком и чтобы глядела восторгом тоскою а я бы крепко её за руку взял и повёл повёл повёл вперёд по дороге и времени катился девятый вал а она глядела нежно и строго навсегда не остаться ребёнком жаль умереть навсегда приговор жестокий и блестит ледяной дороги сталь и шагаем мы вдаль от срока до срока я пока мальчонка я тихо расту а вокруг война её дикие звуки а мы всё идём держим крик во рту не разнимем на морозе тёплые руки и она глядит на меня сквозь кровь и тоску и она говорит немymi устами а как звать тебя мальчик и я говорю Аввакум и она говорит священником станешь и смеюсь я звонко глаза закрыв сам себе упованье слеза и предтеча сквозь воронки пули за взрывом взрыв потому что впереди небесная встреча в белом поле навстречу мне выйду я бородатый старый юридивый нищий и застынет красивая на краю бытия и меня старика обнимет кострищем и стоять я буду в суждённом огне и глядеть я буду как я сгораю так всё будет всё сбудется в дивном сне на краю любви на исходе Рая

* * *

(звёзды в горсти)

О, нельзя, нет, нельзя жизнь заново начать. На новой жизни поставить чистейшей новой Радости печать. Они бегут и бегут, твои ноты, крюки, твое богатейшее, цветное демество: пой великий распев, пой Мирь твой, вертеп, Господень хлев, скоро последнее торжество: всхлип, вскрик, а боле и ничево. Не обернуть

вспять событий, необратимы они: твои ночи и дни, хоть подкову перегни, хоть ближнево насквозь обмани, — грань между смертью и жизнью — да, отодвинута вдаль всегда: ты живёшь, а однажды умрёшь, да то вечно в будущем; разбитая льдом пруда, твоево хрупково зимнево сердца слюда...

До последней минуты! До последнего биенья внутри — твоя смертушка завтра: смотри ей в глаза, не смотри! Ты твою смерть в твою жизнь никак не вписал: не отразил ни в одном из тысящи тусклых старых зеркал... Ты слишком жадно, одинокровно живёшь! полноводно поёшь! До страсти точишь охотничий нож! Ты вечно выходишь из ветхих, отживших кож! Ты бабочкою смарагдовой вылетаешь из мёртвой куколки вон! Ты смерть наизусть читаешь, выпрастываешь из паутинных пелён...

Но ты свою смерть не узнаешь в лицо, когда явится вдруг! Но ты перед ней зарыдаешь: обнять не хватит рук! Ты жил — тёк огненной лавой, расплавленный, яркий, жаркий, безумный, дурной, морем потоков кровавых, зрячим Миромь, слепой войной! А смерть — твоё настоящее тело! Она — гляди-ка! — ты сам! Она стать тобой не хотела, взять на себя стыд твой и срам... Когда всё кончается — красная лава застывает январским льдом... Без славы помрёшь или со славой — да разве всё дело в том! Ты назначен быть смертным, слышишь. Приговор ты выучил наизусть: УИДЕШЬ ЗВЁЗДЬ ЯСНЫХ ПРЕВЫШЕ. Уйду, ты киваешь, пусть. А потом вдруг вскинешься, ярый, многострунный, пожарищней жизнью всех, и завопишь на весь Мирь подлунный, на весь ево плач и смех: Я НЕ МОГУ, МОЙ БОЖЕ! Я НЕ ХОЧУ УЙТИ!

...белое поле. Мороз по коже. Звёзды в недвижной горсти.

...и только нежный голос тонко струит занебесный плач: ты родился голым, слеп, нелеп и горяч, и уходишь ты голым, велик, жалок и наг, разрушенный Божий Город, ослепший Вселенский зрак, одичалый кузнечный молот, сожжённый кричащий сруб, — насквозь прозрачным, как в голод, с молитвенной дрожью губ, с последним хриплым дыханьем, выталкивающим последний стих, с немym ночным замيرانьем кимвалов, цимбал твоих; и издали, тихо, оттуда, где жил до рожденья ты, тебя обни-

мет остуда — сиянием красоты, мерцанием перелесков, алмазным блеском полей, повиснешь на тонкой леске всей рыбьей жизнью твоей, забьёшься, и перельёшься в огромный звёздный котёл, и смертью своей упьёшься, пред Господом бос и гол, — скелет без кожи и плоти, без белой кости душа, в сиянии и в полёте последним ветром дыша.

* * *

(первое видение
Аввакумом Царя и Патриарха)

Шаманский порог перекачивался грозными струями. Струи серебряные, струи железные, навеки безвестные, а вверху, в небесах, бранные тучи друг с другом воюют. Никак друг дружку не поборют. Так и люди. Вражина Пашков, страж ево, то подходил на палубе к нему, разворачивал за плечи к себе лицом, и ну — с размаху — рукавицей да в рожу! Аввакум даже не утирал ладонью кровь. Пусть течёт. Непредсказуема чело­вечья злоба; когда она родится, как вспыхнет, сколь будет пылать, долго ли, коротко ли — никто не знает, только Господь.

Пашков плевал ему в лицо. Плевков грубо вытирал холодный ветер. На палубу, шатаясь, выходила чужая вдова, одетая в чёрную понёву; крестилась, потом крестила протопопа. «Разобьёмся на пороге-то!..» — одними губами бормотала.

...как же там жёнка, с детками, во закутке подпалубном, одна... плачет? молится? Уж лучше б молилась. Господи, на молитву наставь ея, сделай милость. А я потерплю. Я ведь жизнь нашу — любую люблю. Жизнь — она ведь такая: то ведро, то бури отчаянье, а то сидит девчонка, рыдает печально, то дочушка моя, речушка, разливается-плачет слезою талой, горячей.

Дошеник наш, ровно утица плывущая, с боку на бок на стрежне переваливается. Делать нечево, плывём, хлеб жуём. Голодать голодаем, а потом вдовы, монашки грядущие, в котле наварят кашу, так с той кашей и Страшный Суд не страшен. И приблизился другой порог, по имени Долгий. И завыли на бреге голодные волки! Нас зачуяли, человечину, значит. Стоит на носу дошеника вдовушка, плачет. Подошёл да шепчу

ей: тихо, тихо, так всё шепчу: тихо, тихо, ты што, шепчу, аль не видала в жизнёшке лиха?.. аль не страдала, боли не дожидала?.. али муки мученической вовеки не испытала?.. А она, вдовица-то, как обхватила мя за шею, как прижалась вся, дрожа, пламенея, и молясь, вслух бормоча бессвязицу, бестолковье... да полное чистой, неистовую любовью... Молода ведь... да я тож молод... а внутри дошеника — моя жёнка, дети... а снаружи — Долгий порог, тяжкий ветер, холод и воды, до края землицы воды, то сплошные смерти, а то Вселенские роды...

Я так ей шепчу: ну, пусти же меня, ты, вдовица, пусть это всё нам обоим в Божием сне приснится, а так — обнимемся мы там, видишь, где?.. в зените, за облаками, там ты поцелую, обовью Ангельскими руками... А тут Пашков. Прыг на палубу! и нас, обнявшихся крепко, зрит погано! И хохочет-ржёт, ровно конь! и валится, будто спьяну! и по доскам катается, колена поджав к подбородку... а потом застывает — да так и засыпает, к небесам браду подъявши смешно и кротко...

И вдовица моя выпускает мя из объятий, подбегает к Пашкову, обтирает ему от пота лицо потрёпанным платьем, шепчет Божие Слово... А я над ними стою, сам себе храм, сам себе колокольня, и мне так грозно, вольно, нежно, мощно и больно.

...а наутро выкинули из дошеника мя на берег. Зачем? не знаю. Может, Пашков тако умертвити мя пожелал. И готов уж я был обратиться живым да горячим телом в тот жёсткий, по утрам льдом обросший дошеник, олений стланик, ободранный веник. Причалили лодчонку к берегу, скалы над водою нависают, меня за шкирку, яко щенка, ухватили да на берег вышвырнули. Сапогами водицы черпнул, порты вымокли, изветшалый кафтанишко тож. Обернулся. Ну я ж не Лотова жена! На дошеник гляжу. На палубе вдовицы столпились, на мя пальцами кажут, лики от слёзынок ладонями обтирают. И это мне, мне их жалъче, не жели им — мя, грешново!

Озираюсь... Высоки уступы и скалы. Камень на камне навален, и подбираются горы Сибирския к Господу Богу. Мощь! Сила! Красотища! Зажмурился я. Так стою, и ведь ведаю, што сгибну, а внутрях всё поёт. Очи отверз. Надо

мною гуси летят. И то ли восвояси возвращаются, то ли прочь с родимой земли улетают: я счёт временам утерять, не знаю, нынче поздняя осень или ранняя, ледяная весна. Гуси, утки, лебеди, галки, вороны, орлы да соколы, о, многое множество птиц Божиих снуёт тут под небесами, утопает в синеве али в сером мышинном рванье, в занебесной дерюге! И чюдится мне, што из чаши на мя зверьё глядит. Пристально, яко на врага. На вражину; я для них, зверей, — человечья вражина, и иново мне имечка нету пред зверьми, хоша пред людьми я всю жизнь норовлю чистым да честным пребить. Зверьё моё! Лося да кабанчики... олени да козлы дикие, нравные... медведи да волки... бараны да косули... а поговаривали на дощенике, што тут и громадные лесные кошки по тайге бродят, и кто той кошке в когти да зубы угодит — живым не утечь уж ему... И смертно я страшусь лесных змеюк; хоть на бережку стою, на дощеник плююсь, а под ноги себе со вниманьем гляжу: может, мимо проползёт, подлюка, так я ж ей чуть пониже башки ея вреднучей сапогом наступлю.

Нет. Не вижу змей. Стою, ветер мя обвеваает, студит. Неужто на пищу диким зверям пойду? Сзаду ко мне казаки подходят, слышу песка да веток хруст под ихними сапожищами. Поворачиваюсь к ним весь, каков я есть. Казаки на мя воззрились.

- Откуда ты, мил человек?
- С дощеника. Вон, утекает.
- Энтот? Вниз по реке?
- Да, вниз по воде.

Дружно обернулись туда, куда я взирал, и проводили дощеник печальными, удивленными очами.

Потом я кашу казакам на берегу холодной реки варил. Посадили мя ближе к необъятному котлу, крупы в котёл насыпали, водою залили. Деревянную, с длинною точёной ручкой, лжицу в руку всунули: мешай! Мешал. Ветр усиливался. Ярился. Огонь под котлом; ветрище ево красную бешаную шкуру в лоскутья рвал. На реку под ветром я не глядел; ветер белые барашки по серой волчиной воде всё гнал и гнал. Да всё к моим ногам. Казаки костёр близко к воде развели, и ветер иной раз швырял брызги в огонь, ровно горсть мелких жемчугов. Я такие

там, мальцом, на родине, давненько, с детьми — из перловиц зубами вынимал... Казаки вопят: лодья! лодья! Оглянулся. Лодка к берегу пристала. Оттуда люди идут. А поодаль дощеник примкнулся к песку: наш, Пашков? чужой? Не ведаю, ибо зраки будто тучею заволкло. Тяжело люди идут, хрустко ступают. Топ, топ. Вот те, батюшка, и сосновый гроб. Над собою смеюсь: што сам себе мелю! Стали. Казаки тарашатся. И я гляжу со вниманьем, спокойно. А лиц по-прежнему не различаю, и кто такие, в рожу не узнаю. Да и не узнаю никогда. Один шаг вперёд — и р-р-раз мя — по скуле! Больно вдарил; да колко, длань ево в колючую воинску перчатку была облечена. Другой вперед ступил — и стук мя — по скуле другой! Кровушка изо рта потекла. Я зуб на песок плюнул. А тут и третий вперёд по песку шагнул — и мя в грудь толкнул, и свалился я, и тут бить меня зачали, одежонку всю как есть посрывали, и голого били-лупили, прямо на берегу реки безвинной, а гуси в небесах всё летели, а я их уже не видал, мордой расквашенной в песке лежал, песок белый, холодный кровью пятная. Тут разум утерять. Таково крепко били. Кнутами и батогами. И конскими плетями. Когда древняным стволиком молодым, тонким, да с потягом, стали по спине охаживать, на миг я очнулся да опять во тьму нырнул.

Опять вынырнул. Чую, губы сами шепчут: за што? за што?.. пошадите! пошадите! Злые люди! Ах вы, злые люди! Под дождём на палубе валяюсь. Наш дощеник? Не наш? А што наше-то в подлунном Мире?.. да ничево. И сам я не свой. А Богов. И люди под Солнышком, под Луною — Боговы. И ничьи более. Нет, диавол рядом; и ухватить норовит. И пожрать. Мы — еда. Еда! Всяко, во все времена и царствия. Так назначено. И не нам укротить ход времен сих. Дождь осенний, хлещет по мне, лупит наотмашь. Не хуже палачей. И лежу тихохонько. Терплю. Смирение и терпение, так повторяю себе мокрыми губами, смирение и терпение... и...

И будто я тут, на мокрой скользкой палубе валяюсь ликом к небу, и будто уж не тут. А где? То-то и оно. Небеса волглые расступились. Разъялись. Мечом молоньи рассеклись. Каждая жилочка во мне дрожит-болит. От боли ничево не чую, не зрю-не слышаю. Шёпотом Гос-

поду молось. И вроде как не на дощенике уж я. А в Царских палатах. И на троне восседает Царь наш Государь, владыка верховный, Царь святой и славный, Богом на тот трон посажённый, и я, хоть ни в жизнь ево не видал-не встречал, прекрасно понимаю: это — Царь. В одной руке ево скипетр торчит, указывает вверх, на своды палаты, зело расписанные яркими фресками. Ярче Солнца те росписи, богаче хвоста павлиньево! Во другой руке — держава, круглая золотая Луна. На вид тяжела, а на ошупь? Гляжу на Царя. Царь — на мя воззрися. И молча таково друг в друга глядываемся.

И не вижу, што возле Царсково трона человек стоит. И вдруг увидал. Во чёрной рясе. Иерей. Высоко поставлен, пред самым Царём, а пошто же в повседневной нашей поповской хламиде, не в ризе злато-серебряной, парчовой, смарагдами да ладами расшитой? Ах, кумекаю, Великий ведь Пост нынче. И архиерей, и митрополит, и сам Патриарх должны во времена Великаго Поста во чёрное платие облачитися. То Царь в парче сидит, в камнях, на Солнце играющих. А Патриарх — Господа слуга. Господа же на исходе Великаго Поста избичуют, оболгут, распнут и во гроб положат, и камень велий ко входу приткнут; и никто из живых, живущих ишо не знает, что белый Ангел прилетит на том камне смиренно сидеть. И Марию Магдалыню со Марией Клеоповой ждять.

Стою пред Царём да пред Патриархом и мыслю так: с ума, видать, скатился, избили до крови, до утраты разуменья, вот и видятся картины несбыточные. И тут Патриарх шагает вперед, и ишо шаг, и уж возле мя, и тихо балакает, почти шепчет, еле разбираю:

— Верь, верь, ты без веры — прах. Главу склони!

Я подошёл под благословенье. Башку поднял — Патриарх в то время мя крестным знаменем осенял. А Царь, Царь на всё это внимательно глядел.

Потом Царь разжал губы и молвит:

— Думаешь, ты в Сибири? Мнишь, то я прибыл в Сибирь да тебя велел тут сыскать? Нет. В Москве ты, протопоп. В первопрестольном граде. Изволь к ногам припасть Царским!

Я так в ноги Царю-батюшке и повалился. Рухнул на колена, потом лицом на половицы

возлёт, на животе, аки квакша, растянулся. Распластался. Лежу. Тишину слушаю. Молчанье Царское. И Патриарх молчит. Тут понимаю так: да ведь это ж Никон Патриарх. Никон! Через пять изб от меня рожден! Земляк мой, ишо чуть, и сродник! А што, ежели рот разлеплю, язык разую — да к нему обращуся, яко к родному, по вере кровному, по землице, где рождены матерями нашими в Божием Мiре, брату возлюбленному! Да ведь все люди братья на земли! Все! Зачем же нас разрубают?! Зачем берут меч, топор, алебарду, секиру, те-сак мясной — да как размахнутся, да как вдавят, резанут, отсекут, от хлещущей кровушки лице своё не отворотят?!

Лице моё от половиц — горе подымаю. Очи соль заволокла. Соль по щекам льётся. Трудно в голос молвить.

— Никон, — бесслышно шепчу, — да Никон же... ты же — свят... ты же — в наивысшем сане... пошто ты так-то удумал... книги переписать... псалмы по-иному петь... старые святые слова, коими спокон веков наши отцы, деды и прадеды изьяснялись, всё перелопатить, искромсать, с ног на голову водрузить, исказить да извратить... где букву пришить, где титло присобачить... штобы музыка святая — инако зазвучала, иною тропой побежала... а пошто менять тропу ко Господу в небеса?!.. али заросла та тропа крапивою да чертополохом?..

Патриарх на мя взирает. И Царь на мя взирает. Оба живые. И я жив.

Ни жив ни мёртв.

— А што, думаешь, протопоп, где жёнка твоя?!

Тут сердчишко во мне в ямину ухнуло.

— Не ведаю...

Губы заглодали, яко на ветру.

Царь щурится недобро.

— У меня твоя заполошная жёнка! Да таково орёт-то, я ея велел чуть поколотить, штобы — примолкла!

На Царя гляжу и весь дрожу. Настасьюшка! сколько мук! сколько... сколько...

Догадался. Како батогом во всю нагую спину протянули.

— Царь-Государь батюшка! А ты ведь — не Царь!

Округлил глаза Царь. Воткнул в меня зрачки — два копя.

— Што мелешь!
 — Ты ведь — порог речной! Смертный! И имя твоё — Падун!
 — Што...
 — И Расея — твои берега! И тайга — горностаи у тебя на плечах! И не все переходят тебя со благополучием, не всякий дощеник! Кто и разбивает о твой крепкий лоб! Кто в воде твоей, богато-серебряной, жемчужной, тонет навек! Не выплывет! Рыбой станет! Посреди реки цаишь! Камнем торчишь! С места не двинешься! Царская власть крепка! Да наступит час — свалишься с трона... вижу, вижу! Дождь и снег! И потоки хладные! Река безумствует! Это ты, Царь, яришься! Не знаешь, како безвинных погубить! Да помогают тебе ветер, тучи и метели, и гнус жестокий, и слуги твои, клыкастые хищные звери!

Молчание сковало мразом уста. Я понял: конец мне пришёл, и, даже ежели то сон ужасный, он наверняка сбудется. А ежели то не сон — сколь же времени я пребывал во тьме, до перевитых во плоти жил да сухожилий избитый, измочаленный?

— Жёнка твоя красою не обделена, даром што крестьянка простая. Отдашь мне ея, протопоп? Легла на сердце мне она, горячо легла, обожгла. С детьми — беру! Разженюсь — из-за нея! А тебе выкуп богатый дам. Не пожалеешь!

Слушал, будто псалом Давыдов вдругорядь извратили, дощеник крепкий издырявили да страшным пустым гробом по сиротей реке пустили. И плывёт покаместь, да вот-вот потопнет.

Покосился на Патриарха. И, о ужас! увидал, как Патриарх — смеется! Ухмыляется! Над кем смеется? Над Царем Алексием Михайлычем? Надо мной? Да хоть бы и надо мной! Я — стерплю! Да как же оно... Бить Настасью велел, а тут же — и обласкать грозитя, и отнять ея у мя хошет, и возжениться на ней мя вместо?

— Выкуп...

— Да, протопоп! Царский! Повелю тебя возвернуть из Сибири на веки вечные! Дам приход новый, али под Москвою, али под Вологдой, али, может, в Новгороде Нижнем! Времена сместятся. Не изловишь, как изломатся — да сдвинутся! Из старика — во вьюныша обратишься. Бог наш чудеса творит! Знай лишь Ему молись! Лбом об пол бей!

Царь глядел на мя, а я глядел на Патриарха. Крикнул я Царю, да прямо в лице ево владычное:

— Эгей, Царь-батюшка! А зачем таков раскол учиняешь семейству доброму, благочинному! Пошто колешь-рубишь надвое, да без возврата! Настасью штобы взять?! Да уничтожь мя тогда без следа! Убей! Казни! Лучше смерть, чем раскол! Лучше — тьма! Всё одно потом народы из гробов восстанут! И праведники воскреснут — к свету многозвёздному! А грешники в Геенну огненную низвергнутся! Эдак-то вернее будет! Всё честнее!

Побелел лицом Царь. А ко мне шаг шагнул Патриарх.

— Аввакум...

— Што, твое святейшество?! Што произнести хошь?!

— Аввакум...

— Што, Никон?! Забыл, какво рыбку-то вместе ловили в Сундовике?!

И так заплескалась у мя пред очами та рыбка! Мелкая уклейка, вьюны полосатые, уса-тые, в черным-чёрной, да на диво прозрачной воде! Вода как угольная слюда, а речонка быстрая, да заводи в ней, иной раз множество рыбы удой натаскаем, на кулан насадим, домой бежим босые, рыбёшка на вервии за спиной болтается: глядите, люди, каков улов богатый! И Исус со товарищи рыбку в Геннисаретском озере ловил... Пётр рыбу ту сетями в лодью выгребал... а мы, детишки, — с куланом... и тёплая вода с рыбьих хвостов каплет, по спине течёт, по хребту, по рубахе...

Пётр, батюшко мой...

Рыбалка твоя...

Царский глас громом над головой прогремел:

— Ежели я — порог, то Никон Патриарх — твой острог! Зеницы-то разлепи! Оглядися! Себя в чужих зраках — узри!

И вижу, как Никон обращается, медленно и страшно, в древняный громадный сруб; што за брёвна великанские, может, и лиственница, прочна-железна, тюрьма навек, сгинет тут всяк человек, и я внутри сруба, и подо мною соломы пук, солома шуршит, я пить хочу, пить, и боле ничево, и глас соверху, ровно с матицы: **ОСТРОГЪ ГОСПОДЬ СТРОГЪ НЕ ПУСТИТЬ И ЗА ПОРОГЪ**

А потом ишо хрипенье, ужасное пенье: ТО БРАЦКЪ СИДЕТИ ТЕБЕ ТУТЬ ДО ФИЛИППОВА ПОСТА А ВРЕМЯ ПОТЕЧЁТЬ ЗА ВЕРСТОЮ ВЕРСТА НИ КРЕСТА НИ ЧЕРТА

Мыши... тараканы... ночью — холод лютый, инда на снегу, на ветру голяком сижую... а спать-то охота, а без тепла-то и не уснёшь... Стал худой, вострый, будто нож. На кочерьгу похож. На руки-ноги свои глядел: пальцы белые, што мел, из-под тощей кожи колена торчат — таковыми костями лишь насытить малых волчат... Мыши, мыши... я сапогом их бил. А потом над мёртвою мышью, яко робёнок, трясся-плакал, я-то зверьё живое любил, а потом в нея, ишо теплую, в загринок ей зубы запускал... блевал, а жрал... не было зеркал, штоб свой увидать зверий оскал... Вши, блохи... иная насекомая тварь... захлопнул терпенье, како рыночный ларь... И всё себя, грешново, вопрошал: где сон мой, где явь... начало начал... Где детки мои, доченька да сынки... где зрячии их зрачки... на расстояньи руки... Ко мне сын кулачком во дверь тихо стучал... а я-то в кандалах... сруб заместо зеркал... пальцы вместо свечей... подниму — инда горят... озираю мой бархатный, мышинный наряд... худые лытки... с миру по нитке... Брацкой острог... чужие льдины плывут из-под ног... уплывают, уходят из-под кромешных ступней... жить бы да жить на свете, да не сыскать огней... што путь-дорогу укажут во мгле... да не надо мне в небесех... мне бы — тут, на земле... А где ты, Настасьюшка, у коей бабы чужой... приживалкой... ухватом... подпоркой-клюкой... хоть чем дитяток корми, да штоб не помёрли они... крестом Христовым в наш вечный мороз — их да осени...

* * *

(Аввакум суть зеркало Никона)

Пошто ты Церковь-то разрубил? Ах, бормочешь, нельзя иначе было. Нет, Никитка, крестьянский сын, земелюшку б тебе орати да орати!.. а ты во Церковь подалси. То тебе Царь пообещал, мол, твори што желаешь, а он ни словечка тебе не молвит поперёк?!

Царь народу приказал. Народ послушался. А как же; народ пред Царём на площади ниц падёт

завсегда. И Царь не испрашивает народ, нет! Царь велит — и народ склоняет выи. Царь — древо, округ нево бояре — кусточки да отростки, и тако лес тот всевластный растёт и нарастает.

Што в самом-то деле случилось, а, Никон? Пошто тако всё свершилось?.. да и вершится дале. Пошто вдыхаем не благовония, а вонь да гарь пожарищную, кострищную? Раскрыти ли мне людям замутнённые, бельмами неведенья затянутые очи их? Обнажити ли пред ними всю суть твоево, Никон, деяния? Али смолчати?

Велик народ; могуч народ. Да ведь, Никон, ты сам — народ. И я, Никон, я — тоже народ. Ты веруешь, и я верую. Мы оба веруем! Да только во што, в ково ты-то веруешь! Может статься, и не во Исуса Христа вовсе!

Ты застрельщик. Ты предводитель. Ты, поклоняйся, это всё придумал! Муку эту мученическую!

Народ мучится. А Царь? А Царь доволен! А вот скажи, кто Царём, яко пешкою на индусской, во клеточку, игральной доске движет? Кто тобою, Никон, да, да, тобой, хитроумным да оборотистым, сзади тебя вставши, помыкает?! Ах, не знаешь?! Я знаю! я!

Книжную справу разве ты удумал? А разве ж не греки? А за греками кто стоит? Зачем мне, Аввакуму, во имени Божиим удвоить начальну буквицу?! Буква — и ея двойник. А, у всех, у каждого есть двойники! Вот в чём разгадка! Нет, скажешь? Да ведь и у Бога Господа есть двойник! Дьяволом он прозывается!

Трёхперстное знамение тебе пошто было изобретати? Пошто крестный ход округ храма повёл, негодник, не посолонь, а противусолонь?! Земные поклоны пошто запретил?! А крест на церковном куполе кой бес ты надоумил не осьмиконечным иделати, а четырёхконечным?!

Нет... не кричу я... а пошто кричать... бестолку кричать... зряшно глотку надрывать...

Што свершилося, то и бытует. Не делай никогда опасново шага; вкоренится в народ твоя ошибка, опрометчивость твоя, и начнёт пускать гнилые ростки, чёрные листья. Да не ошибся ты; нет! ты всё заране наметил, всё просчитал, разложил на столе, како пельмени сибирские на посыпанной мукою доске.

А пошто ты всё то замыслил, Никон? Пошто

с народом и с землёю Русской восхотел то сотворити? Какая муха благая тя больно куснула, ты и запыргал, аки коняга играющий, встал на дыбки?!

Гордыня тя обуяла, вот што! Гордыня. Отрицаеши? Напрасно! Што глядишь исподлюбья? Да, и я грешен! И я гордыней одержим! Да гордыня моя — вера моя. Горжусь Иисусом! Горжуся Мiромъ подлунным, Божиим! Горжуся людскою любовью, ибо любовь наша суть отраженье Апостольской любви, и слёзы наши суть отраженье Богородицыных слёзынек, и молитва наша суть зеркало Ангельсково, в небесех, нашептання. Ты, иерей, Апостола разве не захотел повторити?! Пошто же ты возгордился тако, што неудержно, нагло потопал, грудью вперёд, очми рьяно сверкая, противу родимой древности нашей?!

Во время оно, при князе Владимире Красное Солнышко, два устава бытовали: Иерусалимский да Студийский. Во Царьграде изначально возлюбили устав Студийский, он же и к нам на Русь прибрёл-переселился. Да незаметно, неприметно всю Византийскую землю залил-захлестнул волною Иерусалимский устав; а книги, книги-то при том на месте не топтались, они ж переписывались, Никон, они дышали, менялись, дрожали, ломались, плакали горяче, неизбежно! Оттово, што люди, люди их курочили, вспахивали, наново лепили гусьими, преступными перьями своими! Так ромей святые слова переписывали; а у нас всё твердили Студийский устав, всё по-старому молились. Пошто ты приказал переписчикам трудиться не покладая рук? Справа! справа! А вышла не справа, а кровавая слава.

Хуже войны это, Никон. Хуже. Горше. Больнее.

То Распятие новое, токмо растянуто оно на чугунном кресте времени.

Кто снимет с новаго Креста прежнево, вечново нашево Бога?!

Где вы, о великие, величайшие? Где вы, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, Василий Великий, песнопевцы, творцы занебесных Литургий? Где вы, возлюбленные, златосияющие Иоанн Лествичник, Роман Сладкопевец, Макарий Египетский, Григорий Богослов? Где ваши святые, солнечные рукописи, в них же ва-

ши голоса навек сокрыты, спрятаны, и на волю вырываются при каждой радостной службе, при всяком ароматном каждении? Посылал ты, Никитка, в южные жаркие земли слуг твоих, приказывал им: привезите таковые мне книги с чужбины, штобы я мог родные страницы все искорёжить, исчеркати новою справою!

Ах, Никон... Да ведь тебе твой холоп Суханов приволок книги даже не царьградские — оттиснутые в дальних градах: в Лютеции, в Аахене, пражские да венецские! А пошто ты велел раздобывать себе древнейшие письмена, в коих речь идёт о позабытых славянских богах, о ледяных землях, о Гиперборее и Мангазее? Языческие книжищи приказывал к себе в терем доставить, а на стогнах костры повелел разжигати и швырять во огонь книги родимые, благолепные, святые. Сам я видал, как на площади широкой возожгли кострище до неба, до мрачных туч, рваной мешковины дырявей, и гарь подымалась в небеса, и вопили и рыдали люди, обступя ночной костёр, протягивая к огню дрожащие руки! Громадный костёр, а к нему подвода подъезжает! Полная книг наших священных, великих! И сваливают угрюмые мужики книги те с подводы наземь, и обливают смолою, и поджигают. И вот уж два на площади костра. А вот и третий! Троица огненная! Троица пламенная! Книги, они, сгорая, корчатся и страдают, яко же и человеки!

А человеки тому нечестию сопротивляются, а их за то хватают, вяжут да в тот костёр — вослед за книгами несчастными — бросают. Жгут, жгут людей! То ты, Никон, содеял! А молодой Царь — он што? А он захотел славы. Прославиться на весь Мiръ возжелал! Ну разве ж непонятно! Ах, два вы жестоковыйных ката... На костры всех подряд отправляли, а сколь ишо отправите! Вам равно, крестьянин ли, боярин, черница, монахиня, торговка, сокольничий, юродивый Христа ради, по улицам да переулкам нагишом бродящий. Великая казнь святово! Слыханое ли дело! Не было таково от Сотворения Мiра на всей земле. А вот у нас содеялося. Провижу время: и продолжится это книжное всеожжение, и будут жечь и жечь Священное Писание и опосля нас, грешных, и чрез множество неизречённых лет... там, во тумане неведомых веков...

И будут забывать люди Слово Божие, како оно на свет родилось. Слово было Бог, в Евангелии Иоанновом изречено!

Костры пылают... огонь, огонь, огнище... опять до зенита, до Полярной звезды...

А пепел остынет — мальцы, огольцы, выгребают из тёплой золы медные застёжки: вот всё, што остаётся от Слова Божиево, нерушимово.

Куда же ты бежишь от меня, отвращаеши лице твоё, али припекают тебя головёшки кострища гордыни твоея? Берегись, тако и сгоришь от греха тово, како от похоти сатанинской... Стой! Слушай!

Казнишь, казнишь! Вот што гордыня творит! Смертушку вы с Царём назначаете книгам и людям, будто орешки шелкаете! А ведь жизнь Бог даёт, Бог и забирает! Правильными себя посчитали. Во предводители Церкви и народа — сами себя записали! Церковь... Ведь она, братцы мои Алексей да Никитушка, русская. Русская! Византийский орёл — пошто он нам? У нас и свой орёл летит над вольными полями, над золотыми хлебами, над изобильными зверем, рыбой да птицей тайгами. А вы... яко нерусские люди. Пошто в вере отцов и праотцев увидали ересь? И греки двоеперстием крестились! А мы, русичи, во храм входили, будто Солнца причащались! Господь суть свет! Потому и крестный ход ходим посолонь! Потому и во Троицу ко святым образам берёзовы ветки приносим! Солнечное древо берёза, солнечным шумом над рекою шумит... над родимую Волгой... Не стремись запретить то, што растёт и цветёт над обрывом, над смертью самой! Возгордился ты шибко, Никита, да Царя за собой уволок! Гордыню вашу едите, гордыню из братин пьёте, гордыней умываетесь да утираетесь. Гоже разве то?!

Пускай я равно с вами грешен. Я тоже — гордый! Главы долу не клоню. Разве казните мя за верность? Да, верен! Да, лишь Христу Богу! А вы...

Што? И вы верны? А к чему же тьму тем смертей на Русской земле устрояете?!

Инда память из вас исчезла, испарилась?! Да помните ли вы незапамятное время? Ах, не жили тогда? А предание на што? А байки да былины наших дедов на што? А летописи-то на што?! Зря, выходит, летописцы трудились, спи-

ну гнули над столешницею, гусьим пёрышком выводя на чистых страницах смоляные буквицы, и те жуками быстрыми разбегались, чечевицею чёрною под пальцами раскатывались: то-то и то-то в сей год бысть, князья перессорились, град в июле крупный выпал, храмину новую, белоснежную во поле чистом, у озера синеево возвели... Свободны мы были! И помнили своё родство! И Бога чтили ежeminутно, ежeminутно, как то и должно в Мире быти!

И милостиво глядел я на сие, што в Рожество воссиял и Сочельник Велеса, а потом являлся весёлый Коляда; и што во святово Георгия выгоняют скот и празднуют Даждьбога; и што Никола Вешний обнимается с Ярилой, зрак слепящим; и што на Ивана Купалу Рожество Иоанна Крестителя, а во день Перуна, владыки громов и молний, приходит Илия Пророк, великий громовержец; и помниши ли ты, Никон, што на Руси на Михаила Архангела возжигает земные и небесные огни Сварог, и летает над ним кругами птица Симургл? Помнишь, да лице отвращаешь?! Прямо мне в глаза гляди! Али не русские люди мы! Всё свято, што воссияло на родимой земле под светилом небесным! Я — помню! Память моя — со мной! И милостив я, и почтителен я ко предкам моим! А вот ты? Ты?!

А трапезную, бунтарь, во што превращаеши? Кормление бедных и сирых, встреча паломников, странников, калик переходящих, пиры во великие Праздники для народа всево, заходи, кто похочет, садись и ешь со всеми, сообща вкушай Господни дары! Братчины гудели и шумели во трапезных! А ты... Теперь тамо пищу вкушати токмо бояре могут. Токмо приближённые к иерею знатные прихожане! А не мститися ли тебе, Никон, што то есть неравенство внутри Церкви? Сказано ведь Господом самим: несть ни еллина, ни иудея... Он-то пришёл воистину не к праведникам, но ко грешникам!

А пошто ты, Никон, глазища-то твои басурманские прячешь? не молвишь, пошто кресты осьмиконечные возненавидел, обрубил до четырёх немецких плашек?! Молчишь... Чем тебе, мордвину раскосому, наш родимый Христов Крест не угодил?!

Не маши на мя рукавами парчовыми! не сморкайся в них!.. говори по правде...

И колокола во древности нашей звенели-играли! И звонари наши за вервие языки медные трясли, во колокол ударяли, людей на радость либо горе всеобщее созывали! А скоморохи?! Да, прыгают высоко, голоса далёко! Кричат — глотки надрывают, во метели родятся, на площадях умирают! На торжищах знатных... у крылец теремов княжьих... а ведь, Никон, они, скоморохи-то, поистине бесстрашны! Всех просмеют, яко в мыльне берёзовыми венниками нахлещут! Што различишь в их воплях, прибаутках вещих? С куклами бегут, сани волокут, а на саях блаженная танцует, рукой пред собою незримо малюет: голым пальцем на морозе рисует в небесах Царицу Небесную — последней выюгой, последней песней... И богомазы ведь наши скоморошья игрища на фресках малюют, во храмах! Скажешь, нечестиво изображати глумцев?!.. в личинах волков, медведей, козлищ брадатых, упрямых?!.. Кричишь: диавола то служитель!.. а он противу ты встает, щёки размалёваны свекольным соком, а потом колесом пред тобою пройдёт и взвопит: што, церковный князёк, глянь, над тобой небосвод высокий! Небосвод далёкий свят, свят, а всё печёшься о земном!.. плюнь да разотри, ведь всё одно уснёши вечным сном... И отдаёшь ты приказ: тово скомороха в клочки разорвати!.. и што, Никитка, тем лишаеши ты себя прошения и благодати... И их, вечных странников, во цветных колпаках, перекаати-поле, ты готов всех, скопом, пожечь, посечь, обезглавить! И, да, творишь сие, ловишь их, будто зверей, и кровь не унять, одну, без тебя, не оставить! Кровью наслаждаешься, кровью насыщаешься... да ты разве упырь?! Ты ж иерей святой, Никон! Ты паствы смиренной поводырь! Ты вести должен, вести... а куда ты Русь ведеши, ну ответь мне, куда?!

...народ наш велик. Ты уйдёшь во свой черёд, Никитушка, а над народом всё будет, не избудет, гореть звезда.

Огонь вечен. Велик. Подыми твой лик. Погляди вверх, наверх. Тамо, тамо плач и смех. Там жизнь, а земля — лишь отраженье ея: тамо чистой Радости музыка, — здесь, вся во слезах, ектенья.

* * *

(письма с войны: навстречу)

Мы, ведомые нашими детьми, идём по убитой военной земле друг к другу всё время. Идём всё надвременье. Идём всё безвременье. Парим надо всеми. Как Ангелы; да вот, человеки мы; и не взять нам у неба жизни взаймы, и не взять у земли, мы сами себе корабли, плывём, встречи назначенной ждём. Пока надеемся, да не умрём. Мне возраста нет; дала монаший обет; холстину грубую ветер вьёт; последний поход. За руку мальчик меня ведёт. Да не мальчонка, а целый народ. Разве народ умрёт? Никогда. Под босою ногой хрустит слюда тонкого льда.

А навстречу мне и мальчишке, там, далеко, идут двое: старик с непокрытой серебряной головою, за руку девочка держит его, идёт и шёпотом, торопливо молится, и я понимаю, Матушка это малютка Богородица. Старик святой! Время, стой! Время, зачем ты идёшь над нами... Время, зачем ты пламя... Мы все в свой черёд сгорим; поднимется к небу тяжёлый дым; поднимется к небу последний крик... запишут в новый нас патерик... Где ты, святой старик? Где, протопоп, арфа твоя, Царю ты Давыде, твоя ектенья, где твои слёзы, тебе исполать, весело смеётся малютка Божья Мать... Мы встретимся! Свидимся! То суждено. Навстречу друг другу идём давно. А как давно? Сколь долгих лет? От очей старика течёт бешеный свет. Нежно светится мальчонки взгляд. Время, не рыдай, поверни назад.

А вокруг, а вокруг грохочет война. Дни в крови. Ночи без сна. Смерть без панихиды. Жизнь без любви. Время без веры. Боль без судьбы. Нас не убили. Хранит нас Бог. Я увижу тебя, отче, дай срок.

* * *

(спасти)

Постоянное моё желание — спасти его, спасти. Унести, яко яблоко в горсти.

Унести: яко вынута котёнка из клыков могучево злово пса; спасти, ему надо выжить, жить, а ему дышати осталось всево час, полчаса.

Спасти казнимово!.. было раньше то ли поверье такое, а то ли закон, то ли волком взывал глашатай на площади, балакал колокольцем подвешенным языком: ежели ково казнят, к тому на помост девица взбежит, завопит: мой!.. то мой человек, беру ево в мужья, развяжите, ослобоните, ибо сей же час пойдём с ним домой!..

Так раньше было. А может, есть и сей час. Слезами вижу юдоль, поскольку кровавая соль долла выела хрустали моих глаз. Воздух, ветер ем и пью, ветром-бурею бормочу-говорю: отдайте, люди, разверните судьбу мою, развяжите, разбейте оковы, отпустите на волю зарю!

Спасти. Пусть самой погибнуть. Но тебя я спасу. Обниму душой, положу на сердце, поддержу на весу — всю жизнь твою, отче, Царь мой, моё убежище, крепость, робёнок-мой-сирота, — зри, нам с тобою объятье в широкой полночи распахнул сам Господь со Креста.

* * *

(Аввакум и я. Псалмы поём)

— **И**споведуйся мне, Господь поможет тебе!.. всем сердцем своим исповедуйся и Расскажи мне все чудеса, што с тобою приключились, и все ужасы, што тя посетили... я отпущу тебе все грехи твои, и возвеселишься ты, и возрадуюсь я, и Всевышний, глядя на нас с тобой с небес, возрадуется сильнее нас. Прощай всегда врагам своим, тогда они не погибнут душой; будут страдать, потому как прощения враг не выносит боле, чем битвы. То есть земной суд. А што есть Божий Суд?.. кто сидит на Царском престоле, а кто в грязи копошится. А века идут-бредут, и не остановятся ходячие, текучие времена никогда... а кровь?.. наипаче она не остановится, льётся и льётся. И оружие изготавливают в дымных кузнях, и дома пожигают супостаты, и горит огонь по всей несчастной земле, а в огне милая наша, бедная память горит. А у Господа престол на небесах, и судит Он всю Вселенную, и правда у Него одна, и самый малый, самый нищий, самый скорбный, самый убогий из нас уповае на имя Господне. Все мы на коленях ко Господу ползём. Все мы плачем пред Ним, лице ладонями закрывая; все хвалим Ево, а ведь

Он за нас пролил Свою драгоценную кровь; одна капля крови Ево — обещание жизни вечной и воскрешение мертвых. Помилует нас Господь!.. и железо ржой затыгивается, яко хлеб — плесенью, и душа человека изъязвляется лжой; миримся мы с тем, што суждено; терпение и смирение, вот две наибольшие добродетели, а иных и не надобно. Доченька моя!.. хвалы Господу приноси. Придёт час — повалимся пред Ним во грязь лицом; падай, но и подымайся, и иди, иди вперед, знает Господь в небесах каждый твой земной шаг; возвратятся грешники во тьму кромешную, а праведные народы подымутся к Богу, и незабвенный будет наималейший нищий, и тот, кто терпел во имя Господа, до конца не погибнет. Да што я, не погибнет; не умрёт никогда. Закон лишь Божий над нами. Далёко от нас отстоит Господь. Камнем не добросить. Каждый из нас мыслит: неужели скорби мои Он, яко письмена, читает? На кострах сгорают люди, в крови тонут люди, погибают в слезах от горя, причитанья и сетованья достигают ушей Бога. Судьбы наши все связаны с Ево судьбой. Нас любящих и нас врагов — всех Он одинаково объемяет. Не клянись людям, но клянись Богу; всегда молитва твоя должна быть у тебя под языком. Не убей невинно, вознагради нищеву, сразись с диким зверем, ежели он хочет тебя загрызть, и накорми ево из ладони твоей, ежели зверь, умирая и мучась, извивается пред тобой. Так и Бог видит, што мы хищники, и в тот час наказывает нас; а видит нас смиренных и терпеливых, и вознаграждает нас. В сердце Ево толпою втекаем все мы, люди, все мы в руки Ево движемся, яко в руки отца родного. Великий нам Господь помощник во всё. Обуюнный гордыней и отроду лукавый отвернулись от Бога и глядят на диавола. Не гляди на диавола, это погиль. Пусть ты будешь бедна и убога, гляди лишь на Бога, лишь Ево величай на Земле.

— Батюшка Аввакуме! А как мне молиться Господу? Может быть, недостойна я, может, отвернёт Он своё лице от мя, грешной? Нужен мне иной раз Ево совет, съедает сердце моё болель, сжигают мысли мои страдания, и думаю, думаю я о врагах своих. И так молюсь я Господу: вразуми мя!.. когда-нибудь и я усну, во смерть войду тихо и горько, и там, внутри смер-

ти, позабуду я моих врагов, а может быть, и встречу их. Но лишь на Господа буду я уповать, лишь на Ево милость и спасение, и Ево небесной Радости будет радо сердце моё. Батюшка Аввакум!.. лишь имя Бога на устах моих. Молю об одном: людие, не отнимите это имя у меня.

— Милая доченька моя! всю жизнь я Господа любил, и теперь, на пороге смерти, я Ево ищю пуще возлюбил. Утверждаю я себя через Господа; сохраняю я себя молитвою: помози, Господи; избавляю я себя от страданий, припадая ко Господу стопам. Я не гордоус, я смиренец пред Господом тишайший, во всём Он помогает мне, от всево злово и чёрново защищает меня. Он заступник мой, хвалу Ему воздаю каждый день и каждый час. Ведаешь, сколько раз я болел болезнью смертною?.. знаешь ли, сколько раз беззаконием люди убивали мя?.. и вот, болезни Ада, вы отступили от меня! И вот люди, што мучили меня, отстали от меня!.. а я всё иду, иду вперёд, и только вопль мой, крик мой Господу возношу. Двигается, дрожит и трепещет под ногами моими земля, и горы смущаются, яко люди, и медленно прочь плывут. И бегут от взгляда Господа, как дикие звери. Яко дым, расходится Господа гнев, яко огонь, пылает Ево лице, и воды Он насылает на землю потопные, и огни безпредельные, землетрясы и мор, голод и праздник; блистает Он в небесах. Да, не каждый смертный зрит это сияние. Люди друга на гибель посылают, стрелы пускают из луков, бросают копья, ненавидят друг друга люто, а Господь всех нас любит, всех, кто сеет смерть друг другу. Чистоты хочет от нас Господь, чистоты. Все наши судьбы у Нево на ладони. Ежели мы грязны, Он очистит нас; ежели мы праведны, Он восхвалит нас; ежели мы развратны, Он ударит молнией нас; и вот, смирение... смирение и терпение... Доченька, лишь об одном смирении и об одном терпении я тебе говорю, я тебе пою. Лишь Бог один владыка наш; не Патриарх, не Царь, нет. Подумай о том, како плывут осетры в реках быстрых, холодных, како скачут олени в чащобах, како летят перелётные птицы в небесах вольных, широких, просторных... всё то дал нам Господь, повелел охотиться, рыбалить, жечь костры, на огне пищу себе готовить. Да разве повелел Гос-

подь нам врагов убивать? Разве кровь Он велел нам лить? Ведь мы, чем больше зла несём в Мирь братьям своим, тем сильнее души наши обращаем во прах. Пред лицом Бога стоим мы все, как пред лицом ветра, дует ветер нам в лицо, валит нас на землю, валит нас, безсильных, с ног, слышим мы ветровой зычный глас, волчий небесный вой: то Господь говорит с нами. Я закрываю глаза и вижу Вознесение Господа моево. Смертные люди стояли и молча глядели, как Он возносится к облакам, и в радости, и в печали, и в потрясении великом исповедовались тогда друг другу, и каждый для другого был Господь, и каждый пред другим, яко пред Господом, представал. Давай, доченька, петь песни Богу нашему.

— Милый батюшка Аввакум! Какая огромная Земля! Сколь живых тварей живёт на ней! Играет-плавает рыба в морях-окиянах! А человек ставит капканы на зверя, стреляет в него из ружья, ево острым ножом колет. Возвышаются горы; птицы живут на горах, гордые орлы. А может, есть недосыгаемая какая гора, где живёт сам Господь? Кто из нас, живых, взойдёт на гору Господню? Я стараюсь, батюшка, уходить от злобы и лести, уходить от лицемерия и хитрости, а они всё бегут за мной. Я хочу, штобы Господь благословлял мя ежедневно и ежечасно. А может ли так быть, скажи мне, што Он отвернётся от мя навсегда? Да и я войду в Ево врата, вечные и сияющие, только когда буду умирать; и выйdet навстречу мне из врат смерти Господь, царь Славы, и прошепчу я: здравствуй, царь Славы!.. всю жизнь уповала на Тебя и не стыдилась тово упования, и молилась за своих врагов, и училась у Тебя, как надо итти по земле сквозь жизнь, но как сквозь смерть итти, я ищю не знаю... как по смерти ступать, какими лёгкими стопами. Вся юность моя во грехах; но, зри, я живу, да, живу, до старости своей докачусь, и каждого греха моево стыжусь, стыжусь, потому што Господь все грехи мои видит, и огромные, и самые крошечные, малые, бедные. И так молю: ради имени Твоего, Господи, очисти мя от грехов, все их возьми, от мя отыми, не повторю их больше никогда, хочу быть и по смерти близкой к Тебе, Ты, Господь, держава тех, кто убоится Тебя, и счастье тех, кто лю-

бит Тебя. Иду-бреду, семь железных башмаков износила, устали ноги мои, истомился дух мой, воззри на мя и помилуй мя, ибо нищенка я Твоя слабая, ничтожная. Гляди, как я тружусь и не изнемогаю во имя Твоё! Гляди на моих врагов, и сделай их друзьями моими, родными моими, расцелую их всех, стану пред ними на колени, так душу свою сохраню. Уповаю на Тя, люблю Тя, избави мя, Господь, от повторения страшных грехов моих.

— Запомни, возлюбленное чадо моё, што Господь ведаёт всю Вселенную и всех в ней живущих; да што там живущих — всех ведаёт, и живых и мёртвых! Реку увидишь на пути своём, поклонись реке, она живая; к морю подойдёшь, прибор лизнёт стопы твои, морю-окияну поклонися, оно живое; гору увидишь высокую, голову свою задери, а потом поклонись горе низко-низко, то гора всево Мира, то Господня гора. Невинна должна быть ты руками твоими, што добро лишь творят, и чиста сердцем твоим; не впускай в сердце своё ни лести, ни ненависти, тогда примешь благословение от Господа нашево, и милостью Своею Господь одарит. Доченька моя! Стань одной из огромново златово века, из уходящево Ангельсково рода; одною из тех, кто Господа ищет, из тех, кто желает встать, радуясь и ликуя, пред лицем Ево. Князь Мира... он рядом, за спиной, топырит чёрные крыла... да пусть! А ты-то где, Царь земли нашей? Допустить пред Господом склониться может только сам Господь. Славен Он, Он есть Царь Славы, лишь один Он силён и крепок, лишь один Он сражается со злом. Молись Ему, и придёт Он к тебе однажды, доченька, откроет Он дверь твою и внидет, ибо Он Господь сил наших.

— Родной мой батюшка Аввакуме!.. к одному Господу поднимаю я душу мою, лишь на Нево уповаю. Пусть враги мои разойдутся, яко дым клубящийся; беззакония они творят. Так молю я Господа: скажи мне пути Твои, но и мои пути открой мне. Научи мя итти по моему пути! Научи мя жить правильно! Будь щедр ко мне, Господи, будь благословен ко мне, не оставляй мя. Накажи мя, ежели грех и непотребство опять на земле творю. Множество грехов у че-

ловека, и у меня за пазухой множество грехов. Убоюсь я Господа, знаю, што душа безгрешная во блаженстве водворится... закрываю глаза... а ночами во снах моих всё Господа вижу: мы с Господом однородны. Ведь так, батюшка Аввакуме? Уведи мя от нужд моих! Уведи мя от боли моей! Прости мне все грехи мои! Я хочу терпеть муки, как Ты, Господи. Я хочу судьбы, похожей на Твою. Дай мне такое счастье: хоть немного повторить путь Твой земной.

— Всегда Господь мой мя прощал, всегда представлял, потому не боялся я никою, не страшился никою; всем, зло насаждающим, всем, кто хочет посеяти, вырастить и срезать под корень плоть мою, всем, кто оскорбляет мя, я слово Господне говорю. Пусть Царь пошлёт на меня целый полк стрельцов — не убоится сердце моё, ибо лишь на Господа я уповаю. Разите!.. режьте, колите!.. убивайте!.. а жить буду. Живу в любой нищей хижине, в любой курной избе, в чёрной баньке жить могу, а буду благословлять Господа во все дни живота моего, и там, где стоит храм святой, ево посещать, тот храм, и служить в нём литургии Иоанна Златоуста и Василия Великаго; пишу кровавыми письменами на ветхом пергамене души моей: храм то селение Божие, то камень, кой несокрушим; можно пожрать всё живое на земле, изрубить секирами, исколоть копьями, уничтожить, а храм Божий будет во прозрачном утреннем воздухе тихо стоять, даже ежели будет навеки разрушен. И с колокольни будет доноситься тишайший, нежный звон. Вижу: в иных временах разрушаются храмы, падают камни на землю, горят купола. Где молиться? Господь живёт внутри тебя. Ты есть живой храм Господа. Не оставь дитё Твоё, Спаситель мой; Ты мне отец мой и мать моя, я никогда не предам Тебя, и Ты не предай мя; никогда не солгу Тебе, и Ты никогда не обманеши мя. Терплю во имя Твоё, и укрепляется сердце моё.

— Отче Аввакуме! Слышишь ты, как я зываю к нашему Господу?! Люди валяются в ров, люди забираются на горы. Люди кричат, штобы услышал их Господь, и не ведают, што Он слышит их. Люди думают, што вот, навсегда погибли они; людям ежели што, вот лишь нав-

сегда; они грешники, и не осознают тово, и больше никто их не спасёт, никто не пошлёт мир, счастье искать, в поте лица трудиться, а приходит Господь и спасает их, и лукавых прощает. Господь всем воздаяние Своё воздаёт. Не разумею я никакие дела Господни, но ежели я отвращаюся от Господа, я все дела мои и дом мой, и строенья ближних моих, и мечты дальних моих разоряю; я не рождаю, а убиваю. Господи, не дай мне убить ближнего моего! Ты один защитник мой! Помоги мне. Путь пройдёт не только тело моё, но и душа моя. И путь достанет сил исповедаться Тебе: утверди мя в неведомой силе моей. Спаси нас всех от последней битвы и последней молитвы, ибо лишь один Ты можешь это сделать.

— Лишь ты один, Господи, в небесах и на земле, лишь на одного Тебя уповаю я. Спаси и сохрани людей всех твоих, и любимую доченьку мою, чрез века и времена она ко мне пришла. Будь ей Богом-Защитником. Дай ей дом, ежели бездомна она, и дай ей пишу, ежели голодна она. Восстанет убитая держава, и простим мы наших убийц ради имени Твоего. Мы на земле мирно живём, ловчие сети ставят нам враги, а мы молимся: Господи, возьми нас в руки Твои! Когда мы будем умирать, в руки Твои мы предадим дух наш. Убегаем мы от суеты, хотим войти в Твой покой, радуемся и веселимся от милости Твоея и от любви к нам. Врагов наших лобызаем како любимейших друзей, избавляем очи наши от яростново взгляда; молимся о том, шtbody утроба наша жива была и в голоде и холоде, лишь Тобой одним спасалась. Отдохнём, когда час пробьёт!.. на тёплой, любящей, необъятной Господа груди. Любимая доченька моя! Терпи от всех врагов поношения; видишь, как люди ко Господу бегут?.. также быстро и ты беги. Тысящи людей, тьмы тем живых сосудов скудельных... сколько людей погигло оттово, што не обращались они к Богу никогда. На одного Господа уповай и всё только тверди-повторяй, и всё только шепчи: Господи Боже! Ты еси Бог мой. А коли тебя гонят, значит, так назначено и земле твоей родной, и тебе. А ежели нечестивые руку поднимают на тебя и бьют тебя, значит, так суждено им, и за своё нечестие они

сойдут в ад и за свою лесть. За то, што уста их слова поганые и смрадные произносят, понесут они наказание Божие. Бытие Бога есть тайна. Мы никогда не узнаем ея. Поднимается на мятеж человек, льёт кровь; люди друг другу языки отрезают, шtbody не произносил язык имя Господне; говори ево сердцем, говори ево душой, шепчи ево духом своим, и спасение пребудет с тобой. Лишь одной истины ищет Господь, и ты, как Он, истину твою ищи, мужайся и укрепляйся сердцем и веселися духом твоим, доченька.

— Я живу на земле и страдаю на земле. Я не знаю, што такое небеса, я стараюсь быть кроткой, а часто бываю гневной. Я хочу возвеличить Господа, да, так! а на самом деле, наверное, я, глупая, обижаю Ево. Я молю Ево избавить мя от скорбей и боли, а Он всё больше, щедрыми горстями даёт мне скорбь и боль. Я пытаюсь жить так, шtbody мне не было стыдно. Я готова быть нищей, но только бы ощущать Господню ласку. Однажды ночью мне приснился Ангел Господень. А может быть, то было наяву. Он подлетел ко мне, раскинул широкие крылья. И я видела, как светятся, как ясно горят, как два Солнца, ево глаза. Я ощутила святость Бога, исходящую, как лучи Солнца, от нево. Я спросила Ангела: Господень ли ты посланник? Зачем ты пришёл ко мне, малой, неприметной, бедной? И тогда открыл Ангел уста свои и проговорил: я страху Господню хочу тебя научить. Я воскликнула отчаянно: значит, ты хочешь смерти моей! А я хочу жить! Ангел улыбнулся: не говори злово. Не умоляй о плохом. Моли только о чуде, и изо рта твоево извергай только хвалу и радость в защиту мира, ибо мирь лишь Господь даёт. Воззри на лице Господне! Да, я посланник Ево! Я посланник Ево, но даже я, слуга Ево, не могу близко смотреть на лик Ево! Ты должна увидеть Ево сердцем; тогда сердце твоё не будет сокрушаться, тогда скорби твои Господь все излечит. Смерть грешников страшна, они, ненавидящие праведных злые люди, обрекают себя на смерть мучительную. Молись за них. Пусть избавит Господь души ненавидящих от страданий. Пусть даст им радость.

— Возлюбленное дитя моё! Молю Бога, чтобы сохранил Он пути твои, и тут же тихо шепчу: сохрани, Господи, и пути мои, сделай так, чтобы изрекал я в Божий солнечный воздух только добрые слова. Грешны все люди, и аз есмь грешен. Смиряюсь я пред тобой, Господи. Пусть я буду болен и немощен, жестоко наказан Тобой за все грехи мои тяжкие, но я останусь с Тобой. Пусть в измученном, скитальном сердце моём разгорится огонь Господень. Часто вопрошаю я Господа: скажи мне, когда уйду я с моей земли? Открой мне час кончины моей! Открой мне суждённое мне число дней моих! Я ничтожен пред Тобою. Образ Твой поддерживает мя в страданиях моих, и терплю я боль и ужас, тако же вытерплю я и Страшный Суд Твой, ибо это будет Последний Суд. Ты можешь сделать так, што я онемею; Ты можешь сотворити так, што весь я буду изранен, и Ты приблизишься ко мне, нежно проведёшь надо мною руками, и почувую небесный я ветер, и все раны мои вмиг зарастут. Услышь молитву мою, Господи! Каждодневно и ежечасно возношу я ея Тебе. За мною стоят толпы. За мною народы стоят. Встают стеною все отцы мои и праотцы, сопровождая мя, доколе я не отыду прочь, из Мира людей, доколе не уйду во тьму, чтобы воскреснуть, задыхаясь от счастья, в Раю Твоём.

КРОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ фреска вторая

Егда святые церкви без мятежа и без пакости в мире бывают, тогда вся благая от Бога бывают подаваема; такоже пременения ради церковнаго пения и святых отец предания, вся злая на них приходят. Ныне же, Государь, грех ради наших попущением Божиим, отнележе они новыя учителя, начаша изменяти церковное пение и святых отец предание, и православную веру, от того Государь времени в твоём Российском Государьствеи начаша быти вся неполезная, моры и войны безвременны, и пожары частыя, и скудость хлебная, и всякое благих оскудение. И аще Государь толикакия многим безчисленныя свидетельства на нашу православную христианскую веру яко непоколеблемо в православных догматах и в церковных исправлениях, и до сего времени пребывает, и за церковное пение пременение, видим вси наказание Божие, то кая Государь нужда нам истинную православную веру, Самем Господем Богом преданную, и утверженную святыми отцы, и вселенскими верховнейшими патриархи похваленную, ныне оставити, и держати новое предание и новую веру?

*Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу*

(Раскол есть война)

Жизнь — весна, да смертушка — зима-война. Зиме вёсну век не повоевать, ан весна промчит — и зимка, глядь! Устройство Мира, воззри, таково: то жнитво, то зимнее, от пуза, ество, то голодуха, пустое брюхо, повылезла шерсть, а ты ишо не умер, ты-то, богоравный, ишо есть! Тони в славном море Байкале, пльви, задыхаючись, по Хилке-реке: тяни свою лямку, не шагать уж тебе налехке, — не спи, не смыкай ночью вежды, звёзд сыплется с небес зерно на темечко... а ты не тот, што прежде, не крутишься, веретено... То гибнешь-тонешь, то отсыреваешь, мокнешь под ливнем, избитый, себе чужой... синий живот, плоть как нежилая, волоком себя по камням волокёшь, изнываешь душой... Барку твою от берега оторвало потоком. Вертит, несёт, — ах, утлый корабль! Жёнка да детки — на холме высоком... молятся: Боже-Спас, жизни вервиё не ослабь... Вода леденюща, быстрюща, лодью норовит перевернуть кверху жалким рыбьим дном, а я воплю: Богородицу сушу Тя величаем!.. в сём Мire страстном! Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!.. тонут минуты мои, уклеики святые, в набегающих,

застывающих, инда в зеркале, волнах... Не утопи! Ты моё упованье! Ты ж моя радость! Праздник ты мой! Древняный поднос нас несёт на закланье хищной Геенне, чернушей пасти немой... Огненной глотке да пропасти водной... наша судьбина — в Божию длань — возляг... Спасённый, вышел на брег я, свободный! Смеюся: снова живу на свете, босяк! Кафтаны атласные, понёвы тафтяные, рубахи льняные, тонково летатна, гребут руками-крючьями... ручонки ледяные... кто прикрал, кто на кусту развесил... шёлковая весна... Шкурка-безделка, горностайка да белка! Рухлядь богатая... настреляли зверья... Эх, напиток бы на радостях да плянющим в стельку!.. всё ведь сгорит-сгниёт, истлеет тряпкой жизнёшка моя...

Ах, жизнь моя, ты надвое раскололась. Ах, жизнь всеобща, ты треснула поперёк! Власть — на куски: последняя волость! Молитва — от тоски: не загвержен урок... Иргень-озеро впереди!.. волоком — лоды... молось-крещусь: ах Ты Господи, пособи... Зимний волок... снег-лёд ноги молотят... бредём чрез силу, от инея седы... Я сани сработал. Снежну землюшку мерить! Полозья просвишут по святой белизне... Гляди!.. распахнулись звёздные двери. Гляди!.. гореть нам, смертным, во звёздном огне... Ингода-река... четвёрто, опосля Тобольска, лето... Ах, власть, то тиха, то оруща, то жруща в три горла Мирь — война посреди зимних Райских, сиротьих кушей, война моя да Никона, а Царь — во шубе, истёртой до нищих дыр... В шубе из соболя сибирска, из горностая, из росомахи, из кунных шкур... Зверьё — постреляли?!.. а жизнь такая: ты первым, штоб ты не убили, выстрели чур! Кнуты остры, а пытки жестоки... я задыхался... ловил воздух ртом... Страданье — выпей!.. приходят сроки. Все умираем! Сей час — не потом! Все умираем! Земля раскололась. Да мы не зрим тово: аки яйцо! Кричи, вопи! Подай же голос! К тебе — с-под купола — летит Божье лицо! То Спас убруса! холстиной утруса... завтра снова — через порог! по снегу — волоком! с роднёй прошуся, со мною память, со мною — Бог! Снимай ты, жёнка, со груди цату, всю изукрашену — смарагд-жемчуг, тyani, рыдая, купцу кудлатому, авось услышит твоо сердца стук! Да за драгую вещицу эту даст нам, голодным, ржи отборной четыре мешка... Когда и хлебец... ког-

да — траву по свету... и ши крапивныя... слеза велика... А голод — это ж раскол великий! Нам голод жизнь разбил-расколол: где сытый — гляну весёлым ликом, где тощий — криком, мыком, што вол... Травы-коренья! души просветленье!.. чем голоднее — тем ближе к небесам! Кору соснову — варить вареньем... да волчьи кости — искать по лесам... Жевать медвежатину, глодать кобылятину, терзать, плача-воя, што волк не догрыз... О том, штоб не стать для рыси — свежатинной, о человеке, ты помолись! —

О, голодуха... ни зренья, ни слуха... как эту песню хрипло пою — о том, как во имя Святого Духа стоял близ мёртвых сынков — на краю... Краюха жизни... метель, ты брызни в мя вином белым... мя до глотки — залей... штоб я не выплыл... штоб стал на тризне медным потиром Царя Царей... Как вопит жёнка... как рвётся тонко последний помянник... зеркальный крик... и хрип мой жалкий: ишо родишь робёнка... и ртом горящим — ко Тьме приник...

Увы, крошечный, слепой и грешный! Увы, полумёртвый ты протопол! Источник рыданий — водою вешней струится, льётся на детский гроб... Не надо сладостей. Избавь от радостей! Эдемским садом бреду в снегах. Во льду. Упился голодными ядами. Рекою лдяной лежу в берегах. Лежу я навзничь. Што для неба значишь?! Разрубят тя, расколуют в шепу... а слёзы льются, недаром даются... оплачь свою душу... оплачь судьбу...

Раскол — военный... суров, нетленный... тьмы сокровенной златой символ... Не надо счастья! Я — неизменный. Я лишь за Господом во Тьму ушёл.

А там — кострище... и ветер свишет... и аз недостойный, нагой иерей, едва не сгибший без питания-пищи, стою у столба, а хлад всё острее, а я цепями обмотан, к столбу привязан, костёр ярится, рвёт огонь в лоскуты, о, долгая мука, уж лучше сразу!.. не снесёшь боли, малодушный ты, орёшь так хрипло, к воде приникнув звёзд ключевых, метельных звёзд, так будет, знаю, та боль святая, вот так же страдал на Кресте — Христос, и я како Он же, Господь упованный, я столь страдаю, чашу сию глотком не выпить!.. клеймом не выжечь!.. а только так — у столба — на краю — на звёздном обрыве — глаз косит сливой — безумствует пламя — вопит народ — а я

расколот, я серп и молот, я смерть и голод, водоворот — я только Время — я звёзд беремя — и бородёнку в небеса задеру — я лишь огонь — я надо всеми — горю-пылаю — и не умру...

* * *

(письма с войны: всё это снится)

я не умру ведь ты же знаешь это я просто гляжу на убитого он рядом лежит головой в круге красного света и красное растекается и дрожит и красное лижет мои руки и ноги кирпичи и камни землю и облака гляжу на мёртвых пытаюсь молиться Богу для крестного знамения не гнётся рука с неба вой опять настагает все кричат: ползите в укрытие в ров а я не умру я ведь другая мне не надо ни яви ни снов люди люди вам всё это снится а я не сплю я иду ко дну я улечу на небо в огненной колеснице я расколую на мирь и войну

* * *

(Аввакум царапает Царю письмо)

Ах ты, свет ты мой Царь. Всё мнится мне, што не севодни-завтре помру. Потому хочу успеть высказать тебе, Царь-Государь, што нельзя не сказати смерду — Царю своему.

Вот сижу я во темнице. И што? То ты мя во темницу воссадил. И пребываю тут; и страдаю зело; а человеци на земле и созданы Господом единственно для тово, штобы бесконечно страдати. Я себя вопрошаю: и к чему таково Миро-устройство? пошто та мука мученическая? Не лучше ли было бы, штобы людие вси друг к друженьке милостивы и ласковы были? Вот што я тебе, да, тебе исделал, Царь? Што такова я тебе сотворил, што ты гонишь мя? Живаго местечка, свежей кожи и неполоманных костей нету на мне от всечасных побоев. А всё по твоему владычному приказу, видать, лупят мя. Сколь разов я смерть к себе тут призывал, в застенке. Молил Бога Господа: возьми, Господи, вынь из мя душонку мою, она Тебе в небесех верой и правдой послужит. А што Тебе в теле брэнном моём? Выпитое оно уж всё страданием, слабое, щедушное, утлое. Дощеник ветхий тело моё, и

вот-вот потопнет в холоднющей Времени Реке.

Вот ночь идёт, идёт и проходит, и не сочту я, сколь раз в бессветной ночи на живот свой паду, да по полу к иконе Божьей Матери Донской всё ползу, ползу по ледяным половицам, да лице своё по доскам тащу, а доски-то неструганные, и щепки мне в скулы и щёки впиваются зверьими зубёшками. Все половицы за ночь слезьми улью. Како баба, реву. Больна моя душа. Чем исцелю ея? Разве любовью? А где она, любовь? Где ты, где ты, любовь? тако и себя, и Бога вопрошаю, вот и ты, Царь, сей же час спросил. Когда ты ищо то письмецо получишь. Когда тебе ево вослух прочитают слуги твои. Не ведаю, знаю одно, нескоро. Так проплачу полночи и прямёхонько на дошатом полу сном тяжким забудусь. И сплю, и сновижу: будто бы я пред тобой, Царь, в обличье Ангела Господня стою, и с крылами за плечьми. А ты очи возвёл, мя увидал, да так возрадовалси, бросился ко мне и ну мя обымать-цаловать, как сродника драгоценнова. А я тебе на те Царския ласки не отвечаю, инда столбище стою; выпустил ты мя из объятий, я тебе земно поклонился. И вдруг ты, Царь, предо мной содрал с ramen твоих парчовую, жемчугами и золотом расшитую барму, распахнул и сорвал с себя кафтан со длиннющими, до полу, шелковыми рукавами, рубаху исподнюю совлёк — да так, с голою грудью, предстал предо мной и на грудь твою нагую перстом указал: гляди, мол, Аввакуме, где рана-то моя страшная, опасная! Я глядел. Рана, будто кто нанёс ея вострой секирой, али охотничьим ножом, али кухонным бабьим мясным тесаком. Длинная, сверху вниз красной полосою, и кровь чуть запеклася; свежая, недавняя. Я крик в нутре подавил. Ладонь к устам прислонил и так, с зажатым рукою ртом, торчу столбом пред тобой. А ты воздыхаешь, голяком-то: зри, протопоп, рану-то мне какову сотворили, так я тя прошу Христом Богом, помоги, излечи!

Излечи, лехко вымолвить. Да непросто исцелать. Исцелить только Бог может. Я тебе, Царь, шепчу: давай, Алексей Михайлыч, я тебе пособую. Соборования благодать излечит не то што рану твою — излечит будущие раны и грядущие дикие муки твои. Давай, соглашайся, прикажи иереев собрать, и станем во круг, и елеем святым запасёмся, и начнём! А ты главой

брадатой несогласно трясеши. Нет, мол, нет, не надобно мне тово соборования, смертию оно пахнет, давай лучше ты сам, Аввакуме, попытайся. Не хочу я, штобы кто другой мои страда- ния непотребные видел.

А пошто же, это уж я вопрошаю тя, они-то непотребные?... с кем не бывает беды... А ты на мя косишься зло. Ту рану, ответствуешь, нанёс мне не враг, а друг. Я ему верил всецело. Любил я ево! А он со мною повздорил. Пьяны мы были в тот час оба. Крепкую брагу в застолье вкушали. В палаты мои вместе удалились. Жарко мне стало, я одёжонки с себя атласные совлёк. Обернулся — и ахнуть не успел, како друг мой уж с обнажённым бердышом стоит, крепко сжимает в кулаке ратовище. Да руку подъял живенько, бердыш молнией сверкнул у мя пред глазами, махнул он, друг-то, мне по голой груди, а я даже боли в те поры не почувствовал. А кровища хлынула ручьём! Горячо стало рёбрам, животу. Я прохрипел, ловя воздух ртом, а кровь руками: вон отсюда, пёс! Он убежал. Наутро я казнил его. А рана моя воспалилась; молю тебя, излечи мою боль!

И што, спросишь, я в том сне я стал с тобою делать? А вот што. Ложись, говорю, Царь, на пол! Ты лёг. Я стал пред тобою на колена. И обеими руками начал соединяти рваные, воспалённые края раны твоея. Слеплять, стискивать... сжимать, гладить, и всё это время, што делал так, молился, молился... Молитва, Царь, горы свернёт. Молитвою живы будем. Так сращиваю рану твою гнойную — и вдруг прошибло мя: да ведь эта же рана — противу сердца твоего! Точно против сердца. И даже почудилось мне, што сердце сквозь ту рану, бияся, выглядывает. Страшно мне стало. Мороз у мя побежал по шкуре. Восхотел я свечу святую возжечь, штобы пред ней за тебя, Царь, Богу помолиться. Огонь-то ведь очищает. Огонь благословляет. От огня злые бесы, чёрные духи бегом убегают. Валом прочь валят, откатываются дьявольной волной. Восстал я с колен, ищу очами свечу... а ты возлежишь на полу, снизу вверх на мя зрираешь и шепчешь мне таково жалобно: отче Аввакуме! не бросай мя! пожалей мя! излечи мя! утеши мя! Я совсем один в целом свете, хоть и семья у мя, и Царство беспредельное на пол-Мира, и огни в широких палатах горят, и

яства дивные мне прислужники на блюдах то и дело несут, а я-то сирота! и нет мне житья от моя тоски. Ты-то, Аввакуме, люби мя! А я обласкаю тя как могу. Ты думаешь, я тебя гоню и пригнетаю? Не пригнешь ты я твой! Благодетель!

Так ты молвил мне, грешному, и сердце внутри мя сместилося, сошло с оси, сорвалось с кровеносных петель, яко дверь ветхая. А рана твоя лишь под моими ладонями намертво склеивалась. А чуть я встал, спинушку усталую разогнул — разошлись опять края ея рваные в разные стороны. И обнажилось красное мясо, и кровь закала, засочилась. Жизнь моя, помыслил я так во сне, и те свои сонные мыслишки хорошо помню, крепко, — жизнь моя, вот и ты тако же станешь однажды: нападут на тебя, пронзят копьём, яко Христа, изрежут ножами, а то и башку отсекут, яко Юдифия отсекла Олоферну владыке, — и што ты зачнёшь делати тогда? Как будешь со смертново своево одра восставать?

Ода, Царь! Покаместь я жив-здоров. Како бы ты мя ни мучил, ни истязал. А дале? Пробьёт час, и я исчезну из глаз, мук не переживу, боли не перетерплю. Ты лучше, Царь, повели мя немедленно изрубить, вздёрнуть... а всево лучше — сжечь. Сожги мя! Огня желаю. Сам, видишь, тебе об огне возговорю! Пламя, оно на нашем, на моём языке глаголет; зело понимаю я ево. Глас ево чую, словеса ево внемлю.

Спросишь, чем завершился мой чудный сон? А не скажу. Много тебе будет чудес в одной бумаге, возлюбленный Царь. Забудь моё сновиденье, Державный Государь, и зачем я ево тебе поведал. Так, навалилася тоска на мя тож; такова же, на какую и ты жалился мне в моём сне. У всех людей тоска. Што у холопов, што у князей. Ты вот венчан на Русское Царство шапкою Мономаха — вроде б ты вознёсся надо всеми, и щастлив должен быть; ан нет, несчастен ты, и ужас в полночи объемяет тебя, отгово лишь, всесильный Государь, што ты смертен, как все, и умрёшь, как все! Како же и я умру! Отмерен срок. Пошто же ты мучишь верново слугу своево? Только ли за то, што я держуся Старой Веры?

Старая Вера! Разве возможно предать своево Бога? Разве Бог твой сделал тебе што ужасное, неподобное, и ты Ево отринул, а себе и подданным твоим стал вещати: лице Бога на образах

перемалевать надобно! слова ево во древних книжках переписать наново! креститься не двумя перстами, како все наши предки святые крестились, а тремя, дескать, то верно, а не вера отцов и праотцев! Стыд... горе... Горе мне, горе всей Земле Русской! А тебе, Царь, видать, не горе! Научился ты лгать самому себе! Ты прости, што я так тебе грубо толкую. В жизни у каждого есть путь; да не каждый зрит ево. Говору тебе истинно, куда итти. А ты мя не слушаешь. Не слышишь.

Пошто мучишь? Ведь замучишь.

А я тя давно простил; Господь мне помог простить; благословляю тя по чудесам Господним благословением милостивым, просветлённым; снизойди к благословию моему; я не всякому ево даю, хотя я и паству мою везде, где бы я ни жывал, во Сибири, во Москве, во Даурии, да не знаю, где ишо по земли буду жити-скитаться, благословляю широким крестом, тако же и болярыня Федосья, ученица моя верная, друзей ея навек благословляла. Кто такая болярыня, спросишь? Да разве ж я тебе отвечу! Не хитри, што не знаешь ея. Всё ты знаешь прекрасно. Она мне является в самые тяжкие времена нищей жизни моя. Вот голодал я тут целую седмицу. Голодал-голодал, да и оголодал. Ни рыбы, ни мяса, да и курочка перестала нестися. Молока бабы до избы не приносили. Неделя миновала постная, я псалмы Давыда зачал пети, Псалтырь мою старую наудачу открыл, да тут скрутило мя в бараний рог, сперва хлад всево охватил, затем огонь лютый; и дрожал дрожмя, и зубы мои колотилися друг об дружку со звоном, яко бубенцы скоморошья. Думаю: печь растоплю, на печь возлягу! И согреюсь. Растопил. На печь с трудом забрался, члены все охвачены трясовицей. Лёг на бок, колена ко груди подтягиваю, яко червь скрючиваюсь. Мыслю так: сей же час помру, здесь на печи, Настасья страху натерпитя, мя с печи сдирать, обмывать, хоронить, вот ишо жёнке хлопоты отчаянные. Весь я во огонь обратился.

И, как только я стал весь огнём палящим, как дверь закрипела и сама собою, без человека, без звука, открылася; я думал, это домочадцы пришли; а дома никово; а входит баба, и лице мне ея знакомо, и вроде как я поднялся в воздух над печью, в избе повис, и так вишу, наподобие

зыбки младенческой; в воздухах парю; а жена та, што в избы вошла, лице своё ко мне подняла и глядит на мя, как на икону святую, таково любовно и почтительно. И очи ея горят, слезами полны. Тут я узнал ея. Болярыня, хриплю, да како же ты тут, какво долго ты ехала, на каких лошадях поспешных прикатила, кто тя ко мне допустил, зачем ты тут?

Она молчит. Ничего не говорит. Лишь на мя глядит. И из глаз ея на мя течёт такое дивное успокоение, такая благодать и сладость души, што лихоманка зачала отступать, таять и растекаться по углам избы, а я всё в воздухе висел, лодкой плыл под потолком, низкая крыша была мне наврде дощеника палубы, все качалось и моталось, я всё легче дышал, лехкия мои внутри рёбер расправлялись и наслаждались дыханьем, а болярыня моя молчала, всё молчала, всегда молчала, веки молчала. Царь, молчанье иной раз величественнее любого славословия и наисладчайшево величания. Ведь и молча можно говорить. И я услышал, какво болярыня мне глаголет: ты, отче, не болен; это все больны вокруг тебя. Ты в вере живёшь, а люди лишь притворяются, што веруют. А иные и притворяются, што — живут. Страшнее этово ничего быть не может.

Но ты, продолжает так же молча, тех живых мертвецов не бойся. Пожалей их. Научись беседовать молча с ними. Вот како я с тобою сейчас. Молча гораздо боле, чем ты мыслишь, Учитель, возможно друг другу сказать.

Слово, слово, слово... Слову конца и краю нет. А жизни — есть. Страшимся мы этого края. Да всё к нему и идём, к нему движемся. Срок придёт — кости твои, отче, зверями хищными, псами прибудными станут разгрызены, воронами зловещими расклёваны. И што? Где ты сам будеши в тот миг, где душа твоя живая в те поры пребудет? Гроба хочешь, Аввакум? Не будет тебе гроба! На земле будешь лежати; под Солнцем, Луною, звездами и дождями; под тучами, быстро по небесной тверди бегущими, инда бешаные степные кони; и люди прах твой под ногами не узрят, и люди, равнодушные, иные, другие народы, инакие поколения, останки твои, с землёй и травую перемешанные, станут топтати, вминать в них станут лапти свои и сапоги свои, и босые, жалкие стопы

свои. Да тот же час Ангелы твои рядом с тобою взлетят! Богородица близко к тебе встанет, улыбаясь жемчужно, сияя на тебя глазами, што шире лазоревых небес! И будешь счастлив ты!

Молвила так — и поднялась вверх, в воздух, и так висели мы с нею друг против друга, и сердце моё занялось. Я видел шёлк ея волос, и как они по раменам струятся. Она висела противу меня в зыбком тумане, полумраке избы, подобно иконе святой. Я не знаю, Царь, с чем сравнить ея лик. Я знаю, ты замучишь ея, как замучил мя. Ведь болярыня Старую Веру исповедует и за мною идёт.

Царь! а ежели ты, ты за мною пойдёшь!

Вот тогда Русь наша будет спасена.

От чево, спросишь, спасена? Да от распри. От смертей. От огня; ведь мы, кто во Старой Вере живёт, будем сожигати себя во срубках, избях и овинах, в ригах и на гумнах, да просто, Царь, на площадях себя жечь, аки дрова во печи, при всём честном народе. Сердце не остановишь, покаместь бьётся оно. Душу не сожжёшь, пока тело не сожжено и душа верой крепка. Я, по-твоему, еретик? Да ведь ково только не именовали еретиком! И Господа самово именовали. Для первосвященников Анны и Каиафы Он и был самый главный еретик. В темнице мне печаль. Но когда раздумаюсь о вере, радость охватит: не изничтожу! не предам! Остригите волосы! Выдерните браду мою по волоску! Прокляните мя так и сяк! Замкните на сто замков в новой темнице, в далёкой страшной, густой тайге! Не страшно умереть за любовь Господа, во имя Господне. Святое Евангелие, Царь, читай! Это есть единственная на земле Книга, кою нужно читать каждодневно и можно вкушать вечно. То наш хлеб и наша вода; наше вино и наше прощение. Не держи мя за своево вражину! Не враг я тебе. Я любви полон, а не яда. Ненависти, што в иных людях вижу, нет во мне. Да, грешен! А кто из нас не грешен! Но покаюсь и боле не творю тово греха.

Затем изволь поклониться тебе до земли, Царь, прощай, Государь, я-то жив, а ты-то не знаю, всяк под Богом ходит, никто не знает часа своево. Челом бью и все мои муки тебе прощаю. Не хотелось тебе о страданиях балакать, но уж такова моя судьба: я радости хочу, а мне на блюде яства несут: боль, крики, батоги да кровь, а боле и ничево.

Царь! Помни, што и в тебе кровь течёт. И в людях, слугах твоих. Кровь во всех, и кровь всегда. Не лей ея понапрасну! Святи ея! Прости ея! Сбереги ея! Ведь мы народ, не лей кровушку народа твоево, Государь возлюбленный.

Из лесов диких мысленно гляжу на тебя и молюсь за тебя; за ково же мне ищо молиться.

* * *

(письма с войны: дети приходят во сне)

за ково же мне ищо молицца я шибко уже стара предо мною у зеркале плывут лица лица а я молюся иштоб дожити до утра а што утро утро оно такое свету море да всё видать наскрозь да што ль все стали враз незримы Осподу Богу Он-то бедняга ослеп от слёз одна разруха одне могилы помирают у боях наши сынки а я старуха уж нету силы никто на домовину не взденет венки малой сгиб у рукопашном истёкши кровью во сне приходит реву ревмя старшой приникнет ли к изголовью крылом серафима ручьём огня и я бормочу им престаньте мне сницца и я пою им детское демество за ково же мне ищо молицца за ково как не за деточек ну за ково

* * *

**(любовь, она же искупление:
Аввакум и Феодосия)**

Он чуял себя временами малым мальчонкой. И словно бы рядом с ним братики, двое, а может, трое, и вроде бы в хворости, и вот-вот покинут сей Мирь, ибо всё тленно, премоно всё, и жизньюшка малая, чуть занеможет, разьест ея изнутри незримый таинственный Червь, во сне он особо тщательно трудится, грызёт человека, выгрызает не хуже лисы лакомый кус из мёртвой мышши; и вроде бы сперва один братик умирает, за ним другой, даже и не в кровати, и не в зыбке, младенчик, а прямо на полу возлежит, корчится и стонет; и внезапно зычный, звучный глас над Аввакумом произносит: СИЕ ЕСТЬ СЫНЬ МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ И ВОТЬ ОНЪ УМИРАЕТЪ И БУДЕТЬ ЖИТЬ ВЕЧНО

Он оглядывался. Никово не наблюдалось в

остроге. О нет! сквозил тут некто живой. Скрипела, отворяясь, затяжелевшая от сырости, а после скованная ночным морозом дверь. Знать, сняли, али сбили замок снаружи. Входила женщина. Он отшатывался: баба!.. пошто баба-то здесь? Шурился. Не жена! Нет! А кто такая? Вглядывался. А она всё стояла у двери, ближе к нему не шагала.

И очи Господни изнутри наконец вспыхивали ему, в ево бедной, кружащейся шибче звёздно ковра округ Полярной Звезды башке: БОЛЯРЫНЯ!

Господи Боже Ты мой, вылепляли с натугою занемелые, посинелые от голода губы, Федосьюшка, дочь возлюбленная, дочь моя духовная, ничуть не греховная, откуда же ты-то здесь... в обители сей безумной, колывратной... позорной, непоглядной...

Ах, то ведь не вертоград уединенный... не Райский Сад... во Время шагнул ты — не оглянулся назад...

Он шагал к ней сам. Шаг, другой. Шаги как века. Один век, другой. Ты моя птиченька! Каково ты принёс ко мне Дух Святой? Али обозом за шесть тыщ вёрст ехала-тряслася? Аль в видении созерцаю ты, лицезрею, ученица верная моя? Шептал, приближаясь: ты-то сама вся, берёста живая, белизной слепящая, как тайно писанная грамотка, и шуришь, и в трубку свиваешься, и кто ты прочтёт?.. разве я, негодный, утлый, ты недостойный? Исус, вот бы Он положил нам закон — во Брачном Чертоге совокупитися. Да Настасья у мя! Каково брошу ея! Невозможно сие!

Подошел вблизи, вплоть. Бился в груди под бичами Господь. Колокол гулко охал, чисто, честно. По ударам сердца в тебе можно поверять часы Мира: коли бьют тяжко, мерно — с Миром всё будет спокойно и знатно, силы в нём прибудет, а войны убудет.

Рот с трудом разлепил, будто засох он в болести, спёкса; истязальной кровию запёкса.

— Я тебе, голубица моя, грамотку посылал в топорище бердыша... стрельца одново, парня доброво, чистово... обещано им было мне помочь, письмецо то тебе передать. Ты тут... значитца, посланьце получила?.. Прочла?..

Болярыня молчала. Нежная, призрачная улыбка стала медленно, обреченно взбегать на ея бледный лик и тихо, аки вода из-подо веш-

нево льда, расплываться по нему, холодному и молчащему.

— Што помалкиваешь... слышишь ведь, што я тебе балакаю... Разучился я, голубонька, говорить по-людски в заключении, а всё по-птичьи, по-зверьи норовлю то стон, то крик из себя выхрипнуть. Каково ты там?.. во светлом Мire, не таёжном, диком, там, где грады высоко строят, где малиновые звоны с колоколен по шири всей гремят-звенят, над реками, над озёрами прозрачными... Христово стадо пасёшь?! Ты хоша и баба, а головушка твоя управительная, не плоше любово мужика всё заделье скумекаешь!

Вскинул браду. Стрелял очами. Болярыня глядела на него из-под ресниц, како одни бабы глядети умеют.

И молчала, молчала.

Он вздохнул длинно, страдально, будто в минуту занемог.

— Што рот на замок?! Зубы на крючок?! Ты мне... поводырю твоему... изменять удумала! Знаю, знаю всё про твои грехи бабы! Да нет, не помышляй худого... никто мне не донёс... а сон я видел. Сновижу!.. и Господь мне всё, всё во снах моих изьясняет, што с моими сынами да дщерьми духовными там, на воле, деется. Ништо не скроешь! Как ни старайся. Как ни ховай грешок за пазуху, в сумёшку. А!.. морщишься?!.. тяжко тебе? Да, тяжко. Слушать правду всегда тяжко. Иные людишки не могут правду слушать; дыхание у них на замок амбарный запирает, и дышать по-Божии, вольно и сладко, не смогают. А я, во сне непотребном тебя увидав, — молился! Вскакивал среди ночи, на колена — бух пред иконой, и молился! Молюсь, инда горю огнём! И вышётпываю Богородице: Пресвятая Богородице, охрани дочь мою возлюбленную, Федосьюшку милую, единственную, от страсти пагубной, от любви треклятой... да не любовь то, Мати Богородице, а напасть, а соблазн велий, а Геенна в Мire огненная! И разорвала Матушка Богородица руками Своими нежнейшими ваш треклятый союз, што зачался, да не попрос у Мира во брюхе, да так на свет и не породился! Слава Богу за всё! Богородице слава!.. Што... молчишь...

Женщина молчала.

Он дышал шумно, многозвучно, многострун-

но, многотрудно, звучал соцветием хрипов, как заморский диковинный орган.

Закричал неистово.

И женщина вздрогнула, как от змеиной плети удара.

— Дрянь таковская! Уродина! Бабёшка полумная! Гадина подколодная! Хватай нож, тесак кухонный, да и выколи око твоё, што на грех соблазняет тя! Лучше без зренья на землице остаться, нежели зреньем тем во тьму диаволу ввергнутой быти! Вот в чём ты, в каких таких тут мехах стоишь предо мной?!

Протянул руку. Цапнул пятернёй за мощный таежный треух, что возвышался грозной мохнатой митрой на голове женщины. Она не успела отшатнуться. Он резко сорвал треух и, озлясь, столь же неистово швырнул его на пол. Треух шмякнулся на доски, словно убитый зверь.

— Што, баба, шапку себе не могёшь бабью пошить?! Кику разукрашену гордо носить?! Плат вышить шерстяной, белый розанами, будто разбросать яркие цветы по снегу?! Пошто в мужика играешь?! Не мужик ты! Не мужик! Баба! Баба!

Она стояла с непокрытой головой. Во срубе, а будто на морозе. И странный, сновиденный ветер внутри избы скорбно шевелил её волосами, перебирал их хладными невидимыми пальцами: так пряха придиричиво и осторожно перебирает пряжу, ищет, где порвалася нить.

Он протянул руку. Отвернув лицо, вслепую, на ощупь нашёл её плечо; оно само скользнуло под его дрожащую ладонь, угнездилось там тёмно и тепло.

— Ну, слышь, прости...

Сжал её плечо крепко, больно. Худые длинные пальцы вдавились, как в серое тесто, во шкуру волчьей шубы.

— Ну, ну... горячий я... Не сердиси, право же слово. Да! ревную. И возревновал! Так аз есмь живой. Живой я! И страдаю, поелику живой. Мучусь вот... из-за тебя... а ты — тут как тут...

Оторвал руку от её плеча.

Измерил всю невидящим, страшным, горящим взором; бешаными глазами — перекрестил.

— Да ты мой сон! Опять — виденье! Опять — бред! Сатанинский морок. Изыди! Изыди!

Широко, зло двуперстием перекрестил её.

Она стояла всё так же: тихо, спокойно, рядом

с ним. Простоволосая, треух на полу валялся.

Он упал на колена. Громко бухнулся; колена в пол ударили, яко два костяных молота, и стук тот под сводами тюремной избы раскатился, ровно под сводами храма.

— Сон мой! Болярыня! Прокопьевна, овца заблудшая! Голубица чистая моя, да, и вся такая моя, что мне самому-то страшно! Инда страх мя берет не токмо видети тебя, да и думати, матушка, о тебе! Господь придёт и будет всех нас, грешных, вынимать из могил, скелеты наши плотью одевать да судити Страшным Судом. И нас, и нас с тобою посудит! А как же! Перво-наперво! Небеса в свиток совьются! Ты помнишь словеса сии?! Помнишь?!

Она молчала и улыбалась. Ветер светлые её, метельные волосы шевелил.

— Звёзды с зенита обрушатся! Землетряс корку земную, чёрствую поколеблет! А мы с тобою што?! А мы...

Задохнулся.

— Обнимемся...

И тут случилось чудо сновиденное, нежданное. Женщина протянула руку. И положила руку на темя протопоба — так иерей возлагает на главу исповедника епитрахиль после кровавой исповеди. Аввакум отозвался на прикосновение всем телом: так жизнь всей плотию отзывается на смерть. Так умирающий всем духом отзывается на жизнь, ежели его — жизнью помянут.

И второе чудо произошло: она тихо, медленно опустилась пред ним на колена. Оба стояли, друг против друга, коленапреклоненны. Широко распахнуты глаза. Нет в любви, людие, ничего мирского. Есть только неотмирское. Небесное. Да и не надо обниматься. И целоваться тоже не надо. Душа целует душу. Сердце милует сердце. Дух ласкает родной, заблудший дух, опять вводя его в лоно судьбы, в чертог неизречённых чудес.

Руки опущены вдоль тела. Колена доски древняной тюрьмы прожигают. Глаза ищут глаза. То его Болярыня к нему навек пришла; и теперь даже ежели уйдёт, то всё равно: счастливы оба лишь тем, што друг перед другом навек на колена встали. Всё равно што помолиться вместе. Всё равно што есть, пить вместе — на краю великово и последнево голода. На краю великой ночи Страшного Суда.

* * *

(Глас Никона)

Никово я не раскалывал. Никово не убивал. То мя зачали убивати, а я восстал на глупцов, на скотов, на козлиц рогатых! Я поклоняюсь Богу-Свету; слава Тебе, показавшему нам Свет! — восклицаю я, литургисая, и кто мя сможет упрекнуть в том, што я насильник, гордец и палач! Да никто! А этот... этот... Я уж и в одну темницу ево брошу, и в другую швырну, нет, всё упорствует, всё за старые Псалтыри да Четьи-Минеи, как за грешную душу, держится: а, ха, ха, да ведь Времячко-то поперёд ушло, укатилось, увалилось за нищей окоём. Иное Время настало. И весь сказ! И надо подлаживаться под Время, приласкиваться к нему надо, иначе оно тя замордует, излупит, стубит почём зря! Безжалостно Время. Неподвластно нам, человекам. Только над туманными снами своими да над ропщущей паствой своей мы смогаем быти господами; над всепожирающим Временем мы не властны, не ево мы цари.

А нынешний Царь... што нынешний Царь? Славно я втолковал ему, каковы деяния надобно с народом произвесть, штобы народ сам, гуртом, овцами, хозяином обласканными и собаками злочими сторожимыми, за новизною побрёл. Новизна! Ей завсегда противятся. Ея боятся, ненавидят. Ну и што, што война! Да, началась война! Да, внутри народа самого! Да, гляди-кась, я-то, видать, с войной поспешил! Да времени земново нетути у мя, и нет у нас ни у ково. Торопимся! Посля нас — кто за нас наше правое дело сделает?! Да никто. И ты, Аввакум, лучче мя то ведаешь!

Всё понял Царь; согласен со мною стал во всяком начинании моём, во всяком хотении; да я и обнаглел до тово, што стал — Царю! — приказывати. Так! Не таюсь, не токмо новизны восхотел, и не токмо славы земной, преходящей, огнём времён сжираемой; власти — захотел! Да такой, што превыше Царской! Ого-го какой! Необычайной; таковой и в самой орлиной Византии было не сыскать! Штобы Русь не токмо пред обновлённым Богом распласталася на коленях, на животах, рыдая, от старины к новизне ползла, но и поклоны мне отбивала,

яко пред образами, мне, да, мне! всемогущему Патриарху, ишо немного, и церковному Царю!

...а то и настоящему; чем я хуже живаго Царя? Да ничем. Может, и мне суждено почуять под моими смертными, жалкими костями позолоченный холодный трон. Скипетр да державу ощутить в холодных руках. Руки-то хладны, да сердце огнём занимается. Огнём, слышишь ты, Вакушка! И огонь тот никакою водою не залить.

А война? Што война! Война идёт всегда. Нет на Руси времячка без войны. Война, она меж мирами грохочет. Мирь, птичий да поющий, трепещет, людей обнимает, плачет-жалится, смеётся на площадях скоморошьими зубёшками. У! Всё скоморошье племя начисто выведеду! Порублю, пожгу! Пушай визжат аж до звёзд! Любо.

Война! Смута являлась. Лжедмитрии вспыхивали и гасли. Злобная Маринка, поганая пани, похотела стать Царицею Русской. Кому война, а кому мать родна! Человек, Вакушка, издревле убивает человека. Так назначено; так положено. И во Ветхом Завете про сие значитя, и в Новом; разве ж не распяли Христа самого римляне в медных латах на Лысом холме? А, ты мне вновь про то, што мой Раскол вывернул Русь наизнанку! Ха! Ну да, вывернул. Яко чулок овечий, бабкой вязанный! И то суждено! В любом прошлом, знай, таится будущее. В каше, кою я, Никон, заварил, прячется — будущая Церковь!

Ишо вспомнишь мя. А может, не вспомнишь, а я тя, пёс смердящий, в застенке до косточки сгною. И носа не высунешь.

Нет, не так: сожгу я тя, Аввакуме. Яко книжищу старую, старуху умирающую. Не Богова больше она. Новые, истинные прилетели от ромеев письмена. И ты не Богов. Ты, как и я же, гордыней одержим! И ишо пуше, нежели я! Такова гордыня жрёт тебя, на глазах моих сжирает, што лишь буйное пламя, в ево же языках столбом стоя, вопить станешь до небес, излечит ея!

А ты мне про што опять?! Про то, што сельский поп обедню похмелен служил? Упился вусмерть и постыдно на паперти упал и так валялся, покаместь жёнка не приковыляла и не утащила ево в избу, под мышку уцепив? Ах, ах, Аввакуме! А ты у нас, видать, безгрешен! Не пьёшь настойки крепки, девок на исповеди не шупаешь, не дрыхнешь, пуше медведя в берлоге,

посля шумново празднества! Ни гулять тебе, ни играть, ни по полю скакать! И то правда, ведь не скоморох ты, Вакушка, а протопоп! Чистейший ты протопоп, алмазный, как я погляжу... А ты не зришь, што ли, што страна наша, Расеюшка, расширяется на Восток, лехкия лесные раздувает, прибирает к рукам Москвы и Сибирь, и восточные лимонные земли, и вот уж Тихий океан под ногами плещется, и вот уж на заходе Солнца запорожцы с Русью союз заключили! Третий Рим мы и есть Третий Рим! А четвёртому не быти! И мы, это мы, да, оба-два, Царь Алексий и я, грешный Никон, содеем новое Вселенское Православное Царство! А стольный градом ево станет, ну ты угадал, гордец, конечно, Москва!

Окромя Москвы-матушки нету Вселенского Града на земле!

Токмо... ну да, да... Град Небесный Иерусалим... золотой ковчег надзвёздный... четыре Ангела на страже по стенам... на четыре стороны света глядят...

Што там бормочешь? Под нос себе шепчешь? Не слышу! А, про Запорожье да Киевские земли! Они-то под властью Царьграда. А мы уж два столетия как сами народом правим! Веру ево на путь направляем! Да, зрю превосходно, различаются и книги наши, и служба наша! Да не бойся: всё я приведу ко единому, Вселенскому обряду. И — нишкни! Што на Украине, што на Руси, што в Сибирюшке, што у моря Восточново, Охотсково! А там, помяни моё слово, Вакушка глупый, а там вся земля-земелюшка будет наша. Наша!

Русский, слышишь, весь Подлунный Мирь будет!

Разве за то не жалко жизнь отдать?!

Да, по-разному молятся, по-разному крестятся, по-разному служат! Да приведём всех скотов во едино ярмо! И будет пахать народ, яко вол, землю свежую, пушистую по весне времён орать!

Да вот беда, Аввакум. И кормишь ты ту беду с руки, язви ты в Бога-душу! Сам — кормишь! Собою — кормишь! Упорствуешь и воюешь! Ты сам вызвал ту войну. Сам на бой мя вызвал! И Царя! Наглец! Да Царь наш — наместник Бога на земле! Царь и народ — одно! Ежели Царь повелел — народ костями ляжет, да исполнит! А

ты?! Упрямишься! Неистовствуешь! Мя как угодно клеймишь и грязью поливаешь! А я-то тебе друг! Я-то тебе не враг! Я-то тебе...

...помнишь, ну вспомнянь, како мы с тобою на санках тех... на саночках катались... на салазочках... с горушки, над реченькой нашей застылой... изгибы ея зальделые помню... инда крыла, инда шея у лебедицы... река зимою, да она вся лебяжья, царевнина... как хохотали мы, Вакушка, когда с тех салазок в сугроб валились... и ты за спиною у меня сидел, и крепко, таково крепко мя обхватывал... аж дух замирал, до тово крепко... будьто задушить хотел... и смеялся громко, на всё небо — смеялся... весело нам было... весело...

...да знаю, знаю, што ответишь. Што, мол, не ты сопротивляешься мне да Царю — противится народ. Народ! Могучий наш народ, сильный. Он, вижу, и противится моей да Царской воле сильно. Но, знаешь ли, ничево неборимово на свете нет. Нет! Што носом мя тыкаешь в незнание моё?! Ну и што, грецково языка не знаю! Ну и пёс с ним, с грецким языком! Арсений Грек, прислужник мой в делах Церкви, всё поправит!

Упрекаешь, што множество ошибок да описок в книгах византийских да веницейских?! Согласен! Имеются! Мне об том Арсений толковал! А в наших што, корявостей мало?! Ух как много! А какая тебе разница, Аввакуме, тако звучит: в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго, али этак: в Духа Святаго, Господа животворящаго. Што тут преступново?! Убрали словцо — ах, жалба какая! Обряд можно поправить, да и сам догмат наново начертать, ежели времена сместились и иной воздух люди вдохнули!

За старину, за старину, за праотцев воюешь... сто раз мне то повторил... яко несмышлёнышу... Што мне кричишь, криво рот разеваешь? Што я упрямый мордвин, леший раскосый?! Да! А может статься, и леший! Из лесов Сундовика сюда, во Москву, припёрся. Мыслишь так, ты один крут и жёсток? Я тоже крут, надобно, и заломаю на дыбе тебя сам, собственно-ручно, и тоже жёсток, жёстче железной лопаты, грабель железных, вострой железной секиры!

Жёсток... или жесток? А какая разница. И тут разницы нет. Один звук во слове уплыл, другой приплыл. Гордыня всё спишет. Ея

власть. Без нея ничево не сотворишь могучево, вечново тем паче.

И Царь жесток. И он не знает пощады. Таким, помысли хорошенько, и должен быть правитель государства громадново, како море-окиян. Он повелевает, он руль времени вертит — и, зри, не страшится будущеево. На кой ему будущеево бояться, когда надобно настоящее строить! Мы — строители! Зодчие мы, заруби себе на носу, Аввакуме! А зодчий што? Он месит, кладку кладёт, рубит, жжёт, сечёт, вешает, рушит, а опосля опять возводит. Вот и мы тако же. Всех перевешаем! Всех порубим! Пожжём всех несогласных! А опосля на костях, на крови новый храм возведём. То закон бытия, Аввакуме! И ты ево ведаеши лучше меня!

А Царя не тронь. Царь велик и страшен. Хотя молод, а хваток и мудёр. Усмирит он вставшую на дыбы лошадь, безумную Расею. Безумен русский человек! Без Царя он в башке, да с огнём во сердчишке. Уважь Царя! Не противься ему! Смирись ты, ну смирись, прошу! Не просить мне тебе надобно, а приказывать! Не баять с тобою, како с шабром, а сечь да сечь плетями-девятихвостками! Штобы шкура твоя с тебя кровавыми ключьями слезала! Штобы ты восчувствовал: смирение, оно одесную тя стоит, а терпение — ошую!

Инако ты мыслишь, Аввакуме! Не вливаешься ты во церковный хор. Слаженно, ладно, знаменным распевом, в един глас со всеми не поёшь! Статочное ли это дело! И не тверди, Бога ради, што Раскол наш — то страшное, невозможное, дикое безумство, што мы с Царём злее зверей; ты што, Смуту забыл? ведь она в те поры кровию да огнём нашу землю залила, когда мы с тобою на тех салазках... по тем горушкам да сугробам... Дети, што с них взять! Катаются! Смеются! А про опричнину отцы да деды на сон грядущий нам, мальчикам, у печи рассказывали; так волосья дыбом вздымались! Разве ж нас жестокостью да кровью удивишь! Мы ко всему привычные! Пошто пророчишь, што Церковь наша замрёт и умрёт?! Да никогда тому не бывать! Да ни в жизнь! Врата Адовы не одолеют ея! Што каркаешь об том, што мы все духовные погорельцы, и по миру пойдём с клюкой да сумой, да в духе, о, в духе будем милостыньку кланчить?! Как не уразумеешь ты, што мы —

вперёд движемся! Во грядущее! А ты нас всех назад тянешь! Рак ты, Вакушка, рак и есть! Ужо обрублю я тебе твои распроклятые клешни!

Не повинуюешься?! Выю не гнёшь?! Невероятна, Аввакуме, гордыня твоя! Я и не мнил, што ты такой молот железный, таковский кремень неразбиваемый! Да я ж тебя разобью! Расколочу! Яко орех кедровый, разгрызу! Во прошлое глядиши?! Гляди! Глазёнки все выглядишь! Я-то воевать с тобою буду до победы! Иначе я не могу! Нам с Царём над тобою — и надо всею старовойской братией — великая победа нужна! Такова война! Пускай мя низложат. Пускай изничтожат. Муку претерплю. Я тож страдати умею. Молча буду под пыткою стоять. Но ты, ты мя не победишь. Помни: нет ни старой веры, ни новой, есть только Бог наш Христос! Али я тя анафеме предаю, али ты мя анафеме предашь. Поглядим! Утро вечера мудренее!

...а салазки всё катят... всё катят с обрыва... и снег, Вакушка, снег-то всё блестит... яко адмант... инда глазам больно...

* * *

(девочка, ты чья?)

Дык я ж што. Я ништо. Аз есмь жалкий протопоп, во поту солёном лоб, спина горбится яко сугроб. Што нас забодал тот круторогий баран Никон! Ни-и-и-и-икон... Вежды сомкну — вижу ево рожу одну. И дородная такая рожа; борода с вехоткой в мыльне схожа; Никон, Никон, во храм заходит — кричит криком, вметнётся в Царския палаты — ах, уж лучше мне быть вживе распяту... Како он пред Царем-то нашим батюшкой изгалялся?! Как земно кланялся ему, с ним, князем верховным, троекратно челомкался-цаловался! Да! троеперстие на себя накладывают, ево едино, из солонки Иудиной щепоть, воспевают!.. да за него, люди, люди, мя — да нас всех, вот он смертный грех!.. — убивают...

Никон. Лунные блики. Луненька моя, свет полнощный, государыня, Федосьюшка... да ведь знай, душенька моя лунная: он ко мне што ни ночь приходит. И речи-то, речи всякие-разные заводит. Исподволь, издалёка зачинает. Да ласков, нежен, будто во Христе безбрежен,

будьто мать родная. Я сажусь ближе, ближе. Из-за ярких слёз ни свечи над книжкой, ни мыши-воришки не вижу. Прямо в морду ему, в лисью, лицемерную, гляжу я: што, мол, Никонушка, шабёр мой, бобёр лесной мой, заимел власть большую? Власть большую, за нею подался на сторонку святую, таперича сидишь одесную Царя, а и кто ж там ошую?

А ошую-то я, да не я, хитрец, а мой призрак брадатый... инда бормочу: не-е-е-ет, ишо не конец, ишо я, зри, не распятой... Не утыканый копыями, не колесованный, не задушенный, не посажённый, — а вот сижу тут с тобою, дурак, непонятный ты враг, ночью бессонной... Ну што, давай, слова свои ковром на зиме колоти, выколачивай от пыли, вражина! Можешь хоть яростью, хоть слюной изойти, — а я лишь шёпотом: во имя Отца и Сына...

Што поведать решил?... тыщи верст отсудил у небес, у застылой землицы... На крылах сна прилетел... а помнишь, мальчонка, пострел, как вместе ловили синицу... Как дудки ножичком резали!.. как на свадьбе плясали резво... а свадьба та была, помню, колдовская, черемисская, с мёдом-яблоками... В розовых понёвах черемиски плясали, нас, детишков, во плясучий круг за ручонки выдирали, а мы по полу берёзовому пятками били яростно...

Это детство наше, Никон!.. это детство наше сосновое, ягодное, холщовое, малина-брусника... велелепное сельцо Вельдеманово... неизречённое сельцо Григорово... И бабка ишо жива... и недуром из земли лезет трава... и ишо по осени не зарезали борова...

И вот, Федосьюшка моя, таково он сидит, пёсий сын, друг-мой-дружок-барсучонок-ребячий, а я ево и вопрошаю: ну ответствуй, што поборол, а чево не превозмог, — правило ношное, древлево пенья долгие плачи? Што тебе не по нраву в нашей-то вере крепкой, старой? Расколись, яко орех! Да возгласи для всех! Поддай в небеса сердечно-во жару!

А он мне так молвит: эх, Вакушка, дурак ты. Налей-ка мне лучче кваску. Вижу бутыль у тя за печью, близ катанок твоих дырявых. Пересохло в глотке. Наорался я на веку. Навидался адовых казней кровавых. А ведь есть Крест Христов, не зря он в виде человека сработан; и есть крест-

ное знаменье, ну чево ж ты ревьешь, ну чево ты...

А слёзы, государыня моя, так и брызнули у мя из очей, так и потекли на ветхую мою власяницу... И молвлю Никону: не тронь ты Крест, не убивай ты в полёте птицу! Не четыре конца у него, а все осемь. Ибо над головою Исуса, наподобье венца, письмена: ЦАРЬ ИУ-ДЕЙСКИЙ — улетают в тучи и просинь! Ибо под ногами у Исуса израненными — тож дощечка прибита: и кровь по рёбрам Ево течет пламенно, для всякой души открыто! А вы!.. то не так начертали, сё не эдак пробормотали... А Крест Христов был и пребудет и в конце, и в начале! Альфа да Омега, а иных буквиц и не видали! И ныне, дурень ты Никон, пошто краснеешь ликом под бешаной бороною... И присно, и во веки веков, аминь!.. не страданием-кровию, а живую водою!..

Я и давай ему из апостола Павла на память читать. Я, матушка, апостола-то Павла наизусть знаю, под лестовку шептал да распевал ево сияющие словеса, ровно Исусову молитву. И валяю, яко катанки новые, для зимы снежной: слово о Христе для погибающих — безумие, а для нас, спасаемых, — сила Божья! И Ефрема Сирина бормочу, нищий на бездорожьи: Крест — путь заблудшим! Крест — упование христиан! Крест — узда богатым! Крест — памятник победы над демонами, помощь беспомощным, надежда обуреваемых, заступник вдов, упокоение скорбящих, цель старцев... Крест — охраненье Вселенной! Сила бессильных, разрешение расслабленных, покров нагим и дрожащим. Да, Никонушка упрямец, Крест — воскресение мертвых, жезл хромым, низложение горделивых, победа... победа... победа — над диаволом! Што, упорствуешь, власть заимевший?! Голгофу хочешь наново переписать?!

А крестное знамение ваше, мясо, наспех к новой, лживой Тайной Вечере порубленное?! Ах ты, пёс ты, пёс! Кому ты кость в зубах принёс! Двуперстие — вот слава, вот награда: один палец — Божественное, другой палец — человеческое! Вот и вся загадка! А Троица Единосущная — вот она: три перста сложи — мизинец, безымянный и наибольший — и будет тебе Троица, от тебя не скроется... Праотцы наши так крестились! Весь древлий Мирь крестился так! Пошто ты древность нашу на выдумку быструю

меной меняешь, обряд рушишь! В обряде — сила. Ибо он — правда. Ибо он — Время, остолоп ты Никонушка!

А он мрачно на мя глядит, угрюмо, гоняет тёмную думу. И рот разлепляет. Изнутри ево бороды до мя долетает: а ты, Вакушка, пошто мой враг? Пошто мя предал за так? За понюх табаку? За ворону на сухом суку? Пошто на мя восстал? У мя с тобой — не моя война. Больно тебе, да! Томно! Да я тебя словесами хлещу, в застенки бросаю, на хлеб-воду сажаю, — таково я тебя спасаю, пойми это, душа твоя голая-босая! Ты мой святой Мирь тыщу раз оскорбил, и мя вместе с ним. А ты вот скажи мне, Вакушка: ты Бога-то любил?.. али так, из кадила пускал сизый дым?.. Ежели Бога любишь — то ить и людей любишь, Вакушка. Да только так! А што зря противу истины восставать! Я-то истину — восстанавливаю! Я желаю, штобы всё точнехонько, по Писанию! А не по твоему велению, по шучьему хотению, по заячьему желанию... Пойми: есть — Святое! Есть — Святцы! И единственно их надо торжествовать и петь! А ты... ты бы рад на моём месте, близ Царя, оказаться... да слаб ты, хил... и тебе только Триодь Цветную листать да во слюду на мороз глядеть...

А я ему возьми и брякни: ты бы, Никон, лучше окрестился вдругорядь! Может, просветлело бы в башке твоей, разумом невеликой, и уразумел ты, супротив чево рискнул восставать!

А тут дверь темницы моей скрипнула. И женщина тихо вошла. Думал, баба мне кваску испить принесла. А она лик подняла, а я и гляжу — это ж снова ты! Ты, свет-царица моя, государыня, твои полнощные черты! Луна, Луненька, Федосьюшка... шаг ко мне, да шаг, да ищо шаг... Нощное правило, завершати не хочется, ночь напролёт читай нараспев, и пушай погибает враг... Ежели ночью Бога звати не станешь — так телу грешному при Солнце и жрать не давай... Прижмись, прижмись крепче ко святой иконе устами... цалуй, ровно хлеб, ровно горячий — из печи — каравай... Лучче ты голодай, чем празднуй чревоугодьем! Лучче пей хладную воду, чем сладкий мёд! Победа твоя над окаянною плотью — залог тово, што и душа твоя не умрёт...

И вот ты, болярыня, подошла к печи да на пол села. И тихо шепчу тебе: не молчи, говори

у края-предела. Един Бог, Он и в Солнце и в Луне, сияет всем щедро и богато, Он — звёзды, Он — безумный заяц на стерне, Он бич в руке палача, свистящий, проклятый... Да ведь есть Божий Бич! Он свистит опричь нашей тщеты, нашего жалкого, зверьего упованья... Болярыня, я Богу, не тебе же служу!.. а поди ж ты, пред тобою дрожу, како агнец пред священной трапезой, несом на закланье... Земля, и моря, и реки, и лозы, и твои, нежная болярыня, слёзы — вдоль жизни моей, вдоль всех ея полуночных видений... Никон, отседа брысь!.. вся такая наша жизнь — от бреда до костра, от резни до святых песнопений...

Да, он тяжело с лавки встал. И к двери пошгал. И у двери на тебя и меня оглянулся. И тяжело изронил: не станет у тя, Аввакум, сил. Разминулся ты со мною навек. Разминулся.

Я тебе не друг. Не враг. Я лишь крепко сжатый кулак. Занесён над временем, над тобою. Я лишь Божий Бич. Я назначен тя бить. Всею памятью. Всей судьбою.

Вышел. Хлопнул дверьми. Пошёл меж людми: меж сугробами, торосами, хвоей; снег под сапогом — хрусть, он убьёт меня, ну и пусть, наша вера всё одно пребудет живою.

...ах, Федосьюшка, ты не ленись, на гулянках раскосых, гремящих монистами, не крутись, болярыне не пристало, а тебе и горя мало. Ко мне ночью и Царица приходила. Царя Алексия жена. Я разглядел ея вполглаза, вполсилы: щёчкой светла, а бровью темна. Брехали, с нея писана масляна парсуна. Красива? Не разобрал впотьмах. Што Магдалыня супротив Исуса — кошачьих ресниц смоляной взмах.

Ты ж, милушка, лучше мя знаешь: дни наши не в довольство, а на скорби нам даны. Плачем и плачем, ревём, в небесах ночами зрим знамя, желаем праздника, а заместо нево видим несчастные сны... Семьсот молитв прочитай в полночи, пропой, моя соловыха! Да мне — лишь одну прошелести крылом, голубица, горлинка моя... Всех помяни: всё семейство моё бедное, што хлебнуло, инда горячих шей, лиха, все муки, на какие иду, обочь сытово, небитово жития!

Ах, добро творить... это вам не квасок пить... Што, вопрошаешь, ушёл ли с миром тот, язви

ево, Никон-то безумец наш? Утёк, да. Я слышал: снег под сапогами ево хрустит, вспоминал тьмы обид, што он мне нанёс, от разбитых в кровищу пяток до кончиков подъятых дыбом волос... подъят я на дыбе?... да буду, буду ищо, изволь... ах, болярыня, до чево дикая боль... Я испытал гоненья, и ищо испытаю, дай срок... я окружён врагами, не ведают сожаленья, волчцами мой обвивают порог... В нощи на колена вставай, да поклоны метай, покуда дыханье не перетечёт через край. Пирог с мясом не вкушай, толечко с огурцом солёным да со щавелём ешь: пока уста свежи, да и дух молитвенный свеж... Ушёл Никон. Ушёл Царь наш. Царица в парче негнушейся тихо ушла. Все покинули мя. Навалилась великая мгла. И совершил я, мать моя, сто Исусовых молитв стоя, а опосля и на колена встал; Слава, и Ныне, и Аллилуиа, и Достойно ешь хрипло петь не устал. Ах, праздники мои сибирские, безоглядные!.. далёко, на край зимы заброшен я... а всё вижу тя, моя нарядная, да нету, нет мне без тебя-то житья... Без тебя — всё мне Великая Суббота, и Аввакум твой со Христом спускается в Ад, и я за Ним смирно иду, бреду, яко во бреду, и чую: нету дороги назад, и край Ево алого хитона умилённо несущу, а сам по сторонам гляжу, ступаю лехко и страшно, како по ношу: всё тя пытаюсь найти, может, ты тут, во страданьях навечных, Господь прости, да не вижу, нет тебя тут, болярыня, нет, и вдруг вдали брезжит полоумный, предвечный свет, и я — за Исусом — всё ближе, ближе — всё жесточе — к нему — и вдруг слёзы на нить мне нижег один родной лик, уходя во тьму — да это ж протопопица, моя остолопица, мать детишек моих, и ах, мне до гроба жена... а Исус всё идёт, и у ног Ево толпится народ, плачет-стонет на все времена... А я красный плащ Ево всё несущу, держу на весу край чистой, святой одежды Ево... а жена моя глядит на мя широко и жутко, глазами огня, плащаницей — гладью кровавой шитво... И чту я в ея глазах: протопоп, жизнь твоя на весах, жизнь твоя на часах, на Царских, разбойничьих, палачьих — да всё равно... А я ей шепчу: Настасья, да ты ж мя прости, дай руку твою подержу в горсти, пока не стало навеки темно...

А и кто это там в углу?... босиком на холодном полу?..

Огонь во печи сгас... за окном — мраз...

Девчоночка малая, стоит тихо... а может, бельчиха... а может, ежиха...

Широко распахнуты очи... мой сон во полночи...

Письмо завершить... нет уже мочи...

...Блюди ты истово, возлюбленная дочь моя, не токмо тело твоё, но прежде всево душу твою алмазную, бирюзовую; беги от людей злых, ненавидящих, кто бросает в мирскую пашню зёрна чёрные яда, мести, лицемерия; сторонися подлых притворщиков, хитроумных бабёнок, рыболовные сети лукавые вяжущих ловким, без костей, языком; болтунов-брехунов; душевну твою в чистоте сохраняй, сердечко твоё от гнева береги, за решётку не сажай, кровавыми думами не стегай, коли встретишь зло, навеки от него утекай, а коли встретишь добро, близко к нему подходи да крепко ево обнимай. Добро, ведь оно и есть величайшее благо в широком Мире и величайшее человеков блаженство. Это же просто таково. Да все делают вид, што не разумеют тово.

Штобы войти в Рай Господень, надобно пребыть чистым. То есть древляя истина, доченька моя любимая. —

Но вот смиренно прошу тя, молю даже: не сражайся с тем, кто при жизни мертвец, не бей тово, кто от Бога Господа далёко ушёл. Может статья, ищо вернётся.

...и положить перо. И дать себе и душе своей время, штоб обсохло чернило.

... письмо, то всево лишь письмо.

...иль то не буквы, а горячие, огненные, бедново сердца удары?

...Феодосья... Настасья...

...а ту, девчонку-то, ту, што невесть откуда является, да всё за полночь, како звать?

* * *

(идут навстречу друг другу)

ах идём идём идём навстречу друг дружке под снегами-дождём ногами перебирает батюшко ноги переставляю я вот мы и далёкая крепкая розно бредущая семья батюшко крепче за руку девчонку держи та девчонка смекай и есть вся твоя жизнь

а я мальчонку крепко за руку держу таково боле никогда на землице не рожу то мой сынок то не мой сынок немой да чужой сердчишком одинок сердчишко заячье стучит тук да тук никогда ни в жизнь не разнимем рук я знаю как ты мальчонка зовут идём той дорогой там берег крут нам надо на кручу штоб видеть вдаль штобы ничево никогда не жаль батюшко идёт я иду во облацах пролагаем мы борозду скоро ли сретенье через века батюшко жизнь моя мне велика батюшко жизнь моя она ведь твоя вся-вся а девчонка глядит смеясь кося я знаю ея имя выну ево из звёздных пелён гляжу глазами косыми на родильный туман времён

* * *

**(Аввакум, Никон, Патриарх во дворце.
Сон ли, явь)**

Зло да каиниты. Наваливаются, аки тучи чернеющие. Что есть зло? Возможно ли ему быть неискушённым добром?

Он был подхвачен ветром, суровым и детским одновременно, и во мгновение ока перенесён во раздольные, просторные, как поля-луга во солнечный ясный день, палаты. Давно уж не разумел, што с ним в темнице творится. Ну пушай будет так, кивал сам себе, а потом эдак, всё смиренно претерплю. На возвышении, в резном богатом кресле, сидел человек. Он шибко, быстро, мигом одним, угадал: да это ж Царь. И, как на грех, забыл, как Царя-то величают. Забыл! Запамятовал имя ево! С ума можно сойти в застенке; жёнка слезу точит денно и ношно; детки... забыл уж он, сколь их у нево, то помирают, то рождаются, то растут, то старятся, а он всё не старится, он всё в силе, да на кой ему эта силушка, лучче бы Господь силу-то у нево взял, а щедрой дланью ему смиренную слабость дал: лечь в домовину, им самим сработанную, сложити руки на груди и тихо ко Господу отойти, да ведь таково счастья не даёт, а шепчет прямо в уши: живи, живи, тебе не вынести Моей любви.

Царь восседал молча, сжимал в руке скипетр, в другой — тяжеловесную державу. Скипетр сверкал камнями, держава круглила позолоченный планетный бок. Рядом с тронном, внизу ступеней, стоял брадатый Патри-

арх. Да, так положено и разделено от века: власть Государя, власть Церкви, — а у нево, жалкого протопопа, што за власть? Да и власть ли у нево? Да и нужна ли она ему?

Все рвутся к трону. Все рвутся быть первыми. Чтобы во славу вцепиться, на гребне прозрачной волны ея засветиться. Чтобы оттуда, с таким трудом, мукой и кровью достигнутой славы, вниз презрительно глянуть, увидеть людешек-мурашей, прищуриться, усмехнуться: о, я моей удачи, Луны и Солнца досягнул, снизу мя всем видать, а мне и недосуг лики все ваши разглядывать, я тут, в высоте, сам по себе, с Богом рядом, ем-пью с Ним из миски одной! Да не из плошки одной ты с Ним ешь-пьешь, а сердце твоё, в погоне за вожеленным первенством с ума спрыгнувшее, тешишь; величием твоим размалёванным баюкаешь; а сбрось себя с гребня — куда сверзишься? Обо што разобьешься? В брызги? В осколки...

Так друг на друга молча глядели: он, Никон, Царь.

И што будет? Што нынче станет?

Явь обращалась в видение. Давило бремя греховное. Он повёл плечами, передёрнул ими, молча помолился: Господи Вседержителю, избави мя ото лжи велией, от напасти гордыни. Царь первым раскрыл рот: по чину. Што, Аввакуме, злата-серебра не имеешь, сундуки с яхонтами-лалами во подполье не хранишь, што же тебе, протопоп грешный, таковую радость нас ненавидеть доставляет? Пошто с нами насмерть сражаешься? Ответствуй!

Никон тут встрял. Начал тихонько, исподволь. Голос пополз тараканом запечным. И всё разгорался, како старый самовар, разъярялся. Опала Царская и гнев Царский никогда напрасными не бывали! От Царя всё надобно претерпеть! Сказано в Писании: претерпевший до конца спасётся! Ты, Аввакуме, был изначально плотский сын родителей твоих и всех предков твоих наследник, а чьим духовным сыном ты нынче мнишь себя?! Господним разве?! Да ежели бы ты был воистину чадом Господним, ты бы понял, что мы тож, и Царь и аз есмь грешный Никон, за высоту и чистоту Господа ратуем! Ни за што иное! Чем зраки твои демоны ослепили, заслонили?! Што ты в сопротивлении нам на земле существуеши? О небесах забыл? О

грядущем праведном полёте там, в Райском Саде, меж херувимов и серафимов? Ликуют Ангелы на небеси, коли душа грешная, всю жизньнёшку на земле воевавшая, просветляется и к их летящему хору примыкает! Ликуют, слышишь! А о тебе, неразумный протопоп, кто будет ликовати?! Кто о тебе возрадуется?!

Он опустил голову. Подбородок ево коснулся груди. Борода топорщилась, пряди шевелились, как живые.

Кто обо мне заплачет, лучше бы спросили, тихо, еле слышно сказал он.

И умолк.

Царь сдвинул брови. Служка подошёл, робко взял у Царя из рук державу и скипетр. Золотыми огнями вспыхивали и гасли Царские одежды, длиннющий, в пол, парчовый кафтан. Руки торчали из раструбов рукавов беспомощными берёзовыми поленцами, и белые праздные пальцы гляделись деревянными, будто их пьяный плотник сработал. Нынче яблочный год будет, ни с тово ни с сево буркнул Никон, шурясь на затянутое подзором мороза странное окно: не квадратное, а почти круглое. Окно-Луна. И катится прочь. Протопоп вздохнул. Люблю яблоки, тихо и медленно сказал, люблю особо в Яблочный Спас. Яблочком любо разговеться. Вы бы, владыки полумира, хоша бы жёнку мою с детишками пощадили, ея бы на волюшку пустили, мя-то как хотите пытайте, взаперти держите, измывайтесь, только бабу, бабу пощадите. У бабы волос долог, ум короток, да, да сами знаете, чай, не маленькие, без бабы и жизнь не продолжится, и дети не народятся, и время прекратится. Баба, владыки, длит время. Она ево пестует, рождает и дале за собой, как телка на вервии, ведёт.

И опять замолк.

И так стоял.

Противостояние, не иначе.

Никон разинул рот да как заорёт, како глашатай на площади людной: а пошто словесами дикими народ весь русский смущаешь! Пошто людей за собой в дебри древлей ереси уводишь! Это ты еретик, а не мы еретики! Это ты волчара, а не мы волчары! Ты изглумился над священным, изговорился, измололся неправедною речью, перегорел, пережёгся в пепел, како забытая в печи головня! Это ты, ты мертвец, ржавая кочерга, тобою только угли остывшие из

жаровни выгребать! Да на снег выкидать! А потом — в угол тя, в угол швырять! Ухват ты проржавелый, и хваталка сломана! Знамя ты в ключья порванное, и древко гнилое надломилось! И все твои к народу бедному воззванья, и все твои писанья, и проповеди все твои — глум, глум, глум скомороший! Войну в открытую противу Церкви Божией ведёшь, так и знай!

Умолк. Так стоял. Задыхался.

Пот со лба ладонью отирал.

Царь молвил хрипло: будешь противиться и дале, на костре сожгу.

Он выпрямил становую жилу. Спина хрустнула, почудилось: надломилась. Почуял себя храниной, под кою пороха подложили да тот порох подождли, и затряслися стены, и осели, осыпали наземь красоту и упование древних фресок. Почуял главу свою златою маковицей; и будто заместо волосев пламя; то ли закат, то ли факелом плоть подождли. Летели мимо лица иконы. Срывались со стен. Какие разбивались о землю, какие улетали в небо. К себе домой. Позолота лилась, расплавленная. Паникадило качалось, свечи гасли, вдруг вспыхивали все, бешено, разом. Лампадное стекло звенело, и лизало пятки лампадное масло. Пахло миром, порохом, грозой, грядущим. Он понимал, што должен прогудеть колоколом распоследнее слово. И качнул веревку звонарь, и ево колокол загудел, мерно и бесповоротно. Он понимал, что скажет сей час бесповоротные слова. И верно! И только так и надобно жить!

— Костёр мне будет како Бог. Господа на мя нашлете в виде огня. Это мне знак будет. Не только мучений моих будущих, но и небес моих лучезарных.

И больше ничево не стал говорить. И так досыта.

Царь говорил. Никон говорил. Они оба, над ним владыки, говорили, говорили, говорили. А он молчал. Он стоял и думал: то ли зрю, то ли чую, то ли жизнь, то ли тьма, то ли Царские палаты, то ль застенки проклятый, то ли я пёс кудлатый, то ли мне за моё грядущее — прежняя расплата. Может, я уже во прошлом? А будущее возьмёт да и никогда не придёт?

Небесное боярство! Ангельское Царство! Што есть земная власть? Поцарил, и нет тебя! А што есть земная слеза? Вытечет, утрут, о радос-

ти завтра соврут. А что ж такова земная молитва? Вот она, небес ловитва! Молись, грешный протопоп, не ленись!

Они говорили и кричали, потрясали кулаками и бородами, стояли, садились, ходили взад-вперёд; Царь слез со трона и мотался, аки хмельной, Никон неистово дёргал кулаком браду свою, будто спутанную рыболовную сеть. Он ничево не слышал. Услышал только, когда во внезапно слетевшей тишине гулко раздался, како с небес, како во храме из-под мощново купола, глас.

— Будет война, людие, неразумны вы, разрубили сами себя мечем надвое, и война грядёт, и на множество лет вперёд. Готовьтесь к ней. Войнство со стороны одной, воинство со стороны другой. Схлестнётеся, родные. И рок то ваш. Наказанье ваше. За нелюбовь. Бога оставили. Бога забыли. Теперь — бейтесь насмерть.

И в полной тишине он сделал шаг вперёд, ко трону, и голою рукой нежно, осторожно коснулся обитой бархатом деревяшки, как в ночи — теплой женской груди.

* * *

(народ родной)

Ах, люди, люди! А вы ведаете, што оно такое — толпа? А я зело ведаю, так больно ведаю, што потроха мои все сплошь огнищем полыхают. Одно дельце, людие, — болотные огонёчки; иное — егда полымя тя крепко охватит, жутко, и завоешь-заблажишь, свету не взвидишь, до чево томно! Толпа тож огонь. Огнь поядающий! Нету конца-краю пожару тому. И идёт, и идёт, наваливается, красным лоном теснит, в алые хищные губёшки втягивает тя, птаху человечью малую, несмышлёную. И то, да разве ж смышлёны мы?! Смысл наш нищий давным-давно на инаких пожарищах истлел. Упорно воспоминаем то, што забыть бы, што вспоминати никогда не велено! Кем не велено? Господом? А хоша бы и Господом. Под Ево лезвиё главу надобно склонити. Выю гордую нагнуть. Слишком мы заносимся, черезчур.

Толпа, толпа. Наплывает, слепа. То притечёт, то отхлынет. Нет удержу. Не дай Господи очутитися середь толпы. Задавят! Сомнут. Ин-

да в кулачище огромном, люди тя, яко ягоду, сожмут, и сок твой весь, по красной капле, выдавят. Кровь, она ж на морозе дымится! Все жаркое на холоду — дым испускает; словно бы горит, и дым валит. От толпы средь зимы крутится в небо дым. Толпа — пожар. Там, внутри толпы, человек — не Господень дар. Не благословение, нет. А иной, страшный свет. Глаза у всех горят. Рвётся наряд. И ветхий-бедный, и самоцветный, богатый; толпа — вот расплата, вот ход ея мощный, проклятый, она Царям отрада, пожива для ката, умножена трикраты, бабы всё рожают да рожают детишек, выпускают из живота, из подмышек, люди, люди — ветра да пепла излишек...

Я толпу видал-слыхал, в ней хаживал, ея по боку многорукому, многоногому — поглаживал. Тёк в ней, пребывал ея кровию, ея холодной вешней водой. Тогда был — эх, молодой! И не страшился толпы. И не страшился судьбы. А теперь... закрутит людской водоворот, и блазнится мне, што душа вон из телес уйдёт, што я — вот-вот, немедля, прямо нынче! — помру: хоругвью забьюся на сыром ветру... Земля наша, родина! Мы — толпа, сколь площадей наискось пройдено... сколь тропинок по горам кудрявым проложено... сколь пальцев, ушей, рук-ног обморожено...

Мы — толпа? А разве мы — толпа? Толпа глуха. Толпа слепа. Толпа то нема, то златоуста: от Мясопуста до Сыропуста. Человек в толпе — не херувим, нет. Он отрок во печи Вавилонской, угрюмой. Серафимам шестокрыльным да Херувимам многоочитым он дал обет: воеводою огнепальным гоняет тяжкую думу. Силы безплотныя! Силы небесныя! Толпа катит?! Нет! Народ идёт, глотку рвёт дедовой песнею! Злолавие пушай иссякнет, а пеньё Ангельско зазвенит в выси: лети, лети, глас народа, песня, милостыньку не проси! Ты сама, наша песня, ково хочешь одаришь собою. Ты летишь во облацех, поверх хороводов девьих, превыше волчьего воя, ты раскинула крыла могучие между тучами, а и кто ты, песня, а ну признайся, скажи?... птица ли Рух, птица ль Гаруда?... снег завалил все просторы, сверкает лютой остудой... лети, сердцем грейся, волей упейся, да не дрожи... Мы все головы задрали. Ты летишь, а будто лежишь в синем небес одеяле. Тя ту-

ченьки целовали. Тя звёздоньки обымали. Над народом — птица! Такая лишь приснится! Зенит протыкает золотая, крылатая спица... Течёт облаков колесница... А коль подстрелят, падать зачнёшь с высоты — Бог на рученьки ты подхватит, не сможешь убиться, в кровь разбиться...

Вот тако же и человек бытует. На мечах рубится, на брачном ложе воркует. А потом — последний полёт. Часы-то — наперечёт! А и што там, внизу, под тобой, улетающим, толпа тебе речёт... што бормочет народ... што глаголет твой Царь... скажет верным сокольничим: подстрели тово Феникса пьянокрылово да на обед мне изжарь... И летишь ты, крыльями машешь, инда в небесах пляшешь, селезень, кречет, голубь, канюк, лебедь белый... глотка твоя, видать, отхрипела, отпела...

Но последний крик! Он есть. Вырвется из пронзённой стрелою груди. Посекут землю кровавы дожди. Красный снег завихрится. Сканию земляной заискрится. Ах, люди, люди, — мы ж у потоков времён — только в небе летящие птицы... то журавли, то синицы...

Крик последний! Народ замолк, бедный! Гремит небесная, на полмира, обедня! Вытолкни крик, душа, да падай на землю; а иной я судьбины не хочу, не приемлю.

* * *

(только вперёд)

Самое трудное на свете — идти. Иди. Самое страшное на свете — идти в темноте. Ничего не видно. Руки сцеплены на груди. Руки сжаты на позабытой версте. Слева грохочет и справа. Последний бой. Это бьются с державой держава. Остаешься самую собой. Остаешься последней девчонкой с печальным ликом Богоматери Донской. Спасённым тощим котёнком. Собакой, чей волчий вой. Идёшь. Ты ходячее дерево. Шагаешь корнями ног. А людям кажется: девочка. Иные видят: щенок. Иным блазнится: ворона. И встали сугробы в ряд. И розвальни с небосклона в посмерть катят, катят. А там, во санях, черным-черна, в алмазной вьюге, кривя плачущий рот, широко тебя крестит мать Война: иди, иди только вперёд, вперёд.

Продолжение следует

Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

Поэт, прозаик, культуролог.

*Окончила Московскую государственную консерваторию
и Литературный институт им. Горького.*

Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России,

Издательского совета Русской Православной Церкви.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»

(2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий

им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016),

им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017),

премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020),

премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021),

премии им. С. Сергеева-Ценского (2021) и др.

*Публикуется в литературных журналах России
и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада).*

Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

